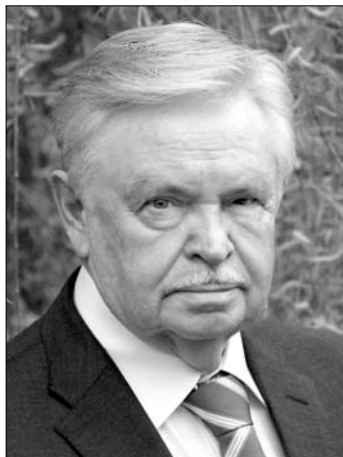


АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



НЕПРОЩЁННАЯ

РОМАН

Посвящаю малолетним узникам фашистских концлагерей — погибшим и живым — тем, кто, не сумев противиться силе, одолел испытания, вынес невероятное и остался Человеком.

Посвящаю памяти Алёны Сергеевны Никишиной, одной из них, судьба которой легла в основу этой истории

Автор

Часть первая

ПРЕДДВЕРИЕ

1

Господь наградил её красотой от роду, хотя ни мама, ни отец ничем среди других не выделялись, кроме, может, кроткого нрава да упорства во всякого вида труде, за что означают таких людей словом “работающий”. Но и то,

ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького, многих других отечественных и зарубежных наград. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.

и другое достоинство ведь незримо же, их сразу не разглядишь, а вот красота бросается в глаза, и вроде бы радость и добродетель в ней заключена, потому как рождает при виде красоты если и не восхищение, то удивление, не на зле замешанное. Хотя и зависть неподалёку бродит. Постороннему кажется, что красивому человеку всё как будто бы легче даётся: и жить, и пробиться к другим людям — с просьбой ли, за защитой ли от бедствия какого, если требуется. Так, во всяком случае, должно бы быть.

Но в этой истории всё наоборот. Красота и нежный, весенний возраст притянули к себе не счастье и радость, а испытание редкой тяготы.

Или во всем виновата война?

2

Родители нарекли её Алёнушкой. Точнее, в бумагах записали Алёной Сергеевной, но как же ещё-то ласково звать Алёну? И росла она в соответствии с именем своим — маленькая, ладненькая, лицом светлая и фигуркой хрупкая. Вырастая, становясь взрослыми, женщины, которых Господь награждал таким кроем, едва ли не до старости издали или со спины кажутся девочками: поступь у них лёгкая, годами не отяжеляемая, руки движутся без медлительности, споро, как бы торопясь, голова поворачивается быстро, точно у маленькой лесной птички.

Впрочем, до этой поры в жизни Алёнушки ещё далеко, а пока она, рождённая в деревеньке на западном краю русской земли, единственная и любимая, окружённая складным родительским бытом, тихими речами, не признававшими повышенного тона, согласием, пониманием взрослыми друг друга с полуслова, а поэтому немногословием, доросла до школы и принялась усердно учиться.

До школы от деревушки было ходу километра три, и поначалу отец отвозил туда Алёнушку на телеге, запряжённой бурым маленьким коньком с человеческим именем Ермолай, Ермоша, послушным, неторопливым, но дюжим, когда надо, запросто одолевавшим глубокие лужи, если шли гиблые осенние дожди, норотившие оторвать деревеньку от ближнего и невеликого, но всё же сельца, где и располагалась четырехклассная школа.

Находилась эта школа в бывшем барском доме, да только барским этот дом лишь звался. Хоть и жил там до революции какой-то барин, был он, видать, не так-то богат и барствен, если в этом доме нашлось для школы всего четыре комнаты, да ещё одна, самая большая, — для сельской библиотеки. А единственная комната наверху, самая барская, что ли, служила и учительской, и жильём для двух из четырёх учительниц школы. Двое-то были местные, а эти две — приезжие, и жить им, кроме как в учительской, было негде.

Про приезжих ни дома, ни в школе никто особенно не разговаривал, ничего не обсуждал, но где-то классе в третьем уже Алёнушка знала из чужих разрозненных слов, что учительницы, живущие над школой, евреечки, приехавшие с какого-то запада, и рано или поздно должны куда-нибудь уехать, а вместо них пришлют других. Пока же народ, населяющий сельцо, относился к ним с некоторым испугом или, по крайней мере, с каким-то беспокойством. Ровно человек незаметно занозился — когда и где, неизвестно, а занозу вытащить не может, глубоковато зашла, и хоть уже привык, считай, с ней обходиться, а всё же порой ноет и зудит эта заноза — лучше бы избавиться.

Малые дети не всё понимают, особенно если объяснение отсутствует, одни какие-то смутные намёки, и Алёнушка ничего не понимала, хотя глядела на двух приезжих учительниц с усиленным вниманием. Ей они нравились, особенно Софья Марковна.

Каждая из четырёх учительниц была ещё и классной руководительницей. В первом классе учила широкоскулая и седовласая Ольга Петровна, и куда она из этого своего первого не переходила. Всех подряд учила азбуке, чтению, азам арифметики, была довольно пожилой, любившей командовать, но хорошей учительницей хотя бы потому, что всякий человек помнит свою

первую учительницу, да ещё если именно она научила тебя читать, писать и считать. Пусть всего до ста... Да ещё она была заведующей этой начальной школы.

Дальше первый класс переходил кому-то из трёх учителей. Точнее, той, которая выпускала четвёртый класс.

Поначалу, когда Алёнушку только привезли туда в первый раз, выпускников этой школы, перешедших в пятый класс, возили в посёлок километров уже за двадцать от сельца: там была средняя школа, а при ней — интернат. И все уже доучивались там. Кто до седьмого класса — было ведь тогда и семилетнее образование, с которым можно было поступать в техникум, кто до десятого, после которого открывалась дорога в институт.

Но речь не об этом — далёком и невидимом из тогдашнего Алёнушкиного существования. А о том, что когда она перешла во второй класс, их наставницей стала Софья Марковна. И три года подряд, до окончания начальной школы, Алёнушка каждый учебный день видела её, слушала её и всё больше влюблялась в неё.

И было ей совсем непонятно, за что Ольга Петровна, самая уважаемая и самая пожилая из учительниц, да ещё и заведующая, не жаловала Софью Марковну. Ну, подругу её, Сару Семёновну, другую приезжую учительницу, может, и стоило недолобловать: была она какая-то резкая, говорила громко и даже о простых вещах рассуждала всегда беспокойно, крикливо, будто спорит, хотя спорить было не о чем. И Софья Марковна в такие моменты вкрадчиво прикасалась к подруге — или ладошкой, или двумя-тремя пальчиками, будто нажимала невидимую клавишу. Чаще всего после этого Сара Семёновна умолкала вообще. А тише и спокойнее у неё никак говорить не получалось.

Алёнушке это не нравилось тоже, как, наверное, и Ольге Петровне. Четвёртая учительница, Анна Ивановна, всегда примыкала к Ольге Петровне. Внешне она казалась моложе всех, хотя Ольга Петровна, часто и при детях, называла её очень-очень опытным педагогом. И выходило, что Софья Марковна и Сара Семёновна хоть и педагоги, и, может, даже опытные, но не очень-очень.

3

Софья же Марковна была поразительно доброй. Класс всегда набирался небольшой, человек пятнадцать, впрочем, по ходу ученья, число учеников слегка менялось — становилось чуть меньше или чуть больше, но ненамного. Кто-нибудь уезжал, а кто-то и приезжал, но у Софьи Марковны к каждому-каждому протягивалась своя добрая ниточка.

Кто плоховато читал, она помогала читать вслух — громко, выразительно и безошибочно. Кто был слаб в арифметике, она объясняла при всех и два, и пять, и десять раз, пока ученик не просто понимал правило, но и сам легко решал похожие задачки, будто белка щёлкает орешки. Остальным тоже выходило на пользу — ведь весь класс повторял пройденное вместе с отстающим.

В комнате, где училась Алёнушка, наверное, ещё от барина осталось пианино. И как же Софья Марковна играла на нём чудно! Сама-то учительница была недовольна, говорила, что инструмент расстроен, и Алёнушка удивлялась этим словам, ведь расстроенным может быть живой человек, но пианино? Совсем не понимая музыку, Алёнушка с восторгом слушала эти незнамо откуда являвшиеся звуки, и сердечко её трепетало от неясного волнения. Не умея не то что найти слово, но даже и чувство своё обозначить, она инстинктом своим, светлой и радостной детской чистотой своей восхищалась учительницей, умеющей сотворить чудо из музыкальных звуков.

Глаза Алёнушкины округлялись, вся она, независимо от желания, обострялась, напрягалась, но не расслаблялась, нет, — и, пожалуй, подрастала в эти благословенные мгновения.

Никто ведь не может точно объяснить, как и отчего растут люди. Нет, не в физическом, что ли, понятии. А как они растут духом своим, чем душа наполняется, да и как это происходит.

А что звуками она наполняется, так это точно. И голосами утренних птиц — Божьими звуками. И тем, что рождено самым, может, необъяснимым и непонятым — человеческим гением, когда обыкновенный же ведь когда-то, так похожий на других ребёнок, вырастая, вдруг соединяет в себе звуки, и неземная лётся музыка, будто созданная для того, чтобы завораживать и возвышать, очищая и облагораживая иные, новые души...

И ещё Софья Марковна владела одной тайной.

Время от времени, прямо во время уроков даже, но чаще — в коридорчике или на улице перед школой, она произносила нерусские слова.

Вырастая в родительском немногословном доме, Алёнушка была по этой, наверно, причине особенно чуткой к словам новым, раньше не известным. Услышав такое русское слово, неизвестное ей прежде, она повторяла его несколько раз, молча шевеля губками, словно пробуя его на вкус, потом произносила его шёпотом и уже только затем — вслух, и раз, и два, и три с тем, чтобы, наверно, навсегда включить его в оборот своей речи и мысли.

А тут было что-то совсем другое. Софья Марковна произносила нерусские слова, а то и целые фразы, и Сара Семёновна ей отвечала.

Правда, это происходило как-то кратко, мельком, проскакивало среди русских фраз, и получалось, что нерусские эти слова были совершенно обыкновенными, малозначительными, просто для какого-то удобства заменяющими слова, понятные всем. Выходило, что ничего серьёзного и не говорится.

Может, Алёнушка и не обратила бы на это отклонение особенного своего внимания — ведь не обращали же остальные ребята, пропускали мимо ушей, и всё! — да вот была у неё эта нечастая особенность: малоречие батеньки и маменьки. А недословие ищет заполнения.

И слова, произносимые Софьей Марковной не по-русски, звучали в её сознании зачем-то особенно громко. Как пронзительные удары колокольчика. Однажды, набравшись отваги, она спросила, кажется, в третьем классе, прямо во время урока:

— А что вы сказали? Софья Марковна?

— О! — воскликнула, вдруг покраснев, Софья Марковна. — Я сказала *данке шён* этому мальчику. Значит, спасибо. По-немецки.

И заполнила наступившую тишину:

— Вот если бы в нашей школе была семилетка, мы могли бы, начиная с пятого класса, учить немецкий язык. Но у нас начальная школа.

Алёнушка не знала, что надо спрашивать дальше. А Софья Марковна сказала вдруг поскуцневшим отчего-то голосом:

— Мы с Сарой Семёновной жили в Польше. И учились в немецкой школе. Но потом мы уехали к вам... И дальше нам бежать некуда.

Нет, это не Алёнушка спросила. Кто-то из мальчишек. Они всегда больше всех знают.

— А зачем бежать?

— Потому что есть люди, которые преследуют евреев, — ответила Софья Марковна. И прибавила, тяжело вздохнув, совсем по-взрослому, будто взрослым и поясняя: — А мы еврейки.

4

Пожалуй, Софья Марковна говорила слишком уж взрослые слова. Для третьеклассников-то! В Алёнушкином домике на краю деревушки, спрятанной в лесу, которая и сама-то была в трёх верстах от сельца, ни маменька, ни папенька, да и никто другой таких слов не знал и никогда не произносил.

Жизнь там протекала своим ходом, родители числились колхозниками, но поскольку деревушка, где они жили, была уж больно мала — всего-то с десятков хозяйств, и рабочей силы, как и скота у хозяев, насчитывалось очень мало, селение на отшибе считалось колхозным отделением, управлял которым самый деловой старик из здешнего крестьянства, с окладистой серой бородой, — дядя Иннокентий, спокойный, как и батюшка Сергей Кузьмич. Было под началом малой бригады ржаное поле во сколько-то там де-

сятков гектаров, и его требовалось обиходить: посеять, вырастить, убрать урожай и сдать его в казённый амбар, — это уже в сельце, где школа.

Иногда за это что-то выдавали на трудодни, чаще всего зерном же, которое шло на муку и на прокорм скоту, а жить приходилось своим приусадебным хозяйством. Поэтому нескольких коров, поросят, баранье небольшое совместное стадо да живность помельче у крестьян не отнимали. Тем и жили, добавляя сюда огородные урожаи.

Словом, деревушка по имени Барашки, носившая свое имя без всякого намёка на большие бараньи стада, была, скорее, забытыми выселками, и не ходило здесь легенд о красивом историческом прошлом. Сколько помнят старики, всегда эта деревушка была малой, всегда за каким-то лесным углом, и всегда жила бедно, несуетно, вроде как в полусне, где ни про что пустое и незнаемое не говорили. Больно далеко всё было.

Библиотека располагалась в сельце, в здании, как говорилось, школы, радио в деревне только собирались проводить, да для этого требовалось установить столбы — а сколько их надо на три-то километра? И это для двадцати, пусть — тридцати, если считать с младенцами, человек? Да что там! В Барашки и свет-то тянуть только собирались. Фермы нет, школы нет, даже фельдшерского пункта не бывало никогда, библиотека отсутствует, ну, и всё остальное может подождать.

Так что какие уж там рассуждения про неведомое! Правда, молва про двух приезжих учительниц всё же дотянулась, добрела до деревушки, и маменька, Пелагея Матвеевна, приобняв как-то свою красавицу, сказала ей негромко и ровно:

— А ты учительлок-то этих, милая, не сильно люби, которые беглые.

Алёнушка вскинула взгляд на маму, улыбнулась навстречу доброму предупреждению.

— Они ведь как, — рассуждала мама, — сегодня к нам приедут, завтра дальше уедут. Не наши они, вот как сказать-то надо. А там и наши есть! Учительницы-то! Ольгу Петровну я давно знаю, у её мамы ещё училась. Да и Анна Ивановна — нашенская, здешняя. Лучше их слушай, девочка!

Алёнушка всё улыбалась маменьке своей: вот ведь, хоть и маменька, и добрая-любимая, а не понимает простого.

— Маменька, — сказала она голоском тоненьким и чистым, как серебряная ниточка, — да как же я буду слушать Ольгу Петровну? Или Анну Ивановну? Ведь учительница-то у нас Софья Марковна! И она очень добрая!

Не послушалась Алёнушка простых маминых слов, впустила в своё сердечко добрую, ни в чём не повинную Софью Марковну, которая учила её, как и всех других, писать, считать, читать, любить сказки Пушкина, которые читала наизусть, слегка прикрыв глаза, и хором, всем (уже четвёртым!) классом — стихотворение Лермонтова “Бородино”, и в глазах её стояли слёзы, когда она восклицала: “Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, французам отдала!”

Вот этого Алёнушка не понимала. Почему от этих именно слов надо плакать? Разве мало других стихотворений, вызывающих печаль? Софья Марковна их читала во множестве, и Алёнушка плакала вслед за ней, хотя не следует учить детей плакать на уроках.

И ещё она рассказывала им про композитора Моцарта и играла на пианино, всякий раз извиняясь за то, что инструмент тут должен быть другой — клавишин, и объясняла, что это за инструмент.

В один прекрасный день, когда Алёнушка заканчивала четвёртый класс, Софья Марковна пришла на занятие с Ольгой Петровной, и обе они улыбались, дружелюбно поглядывая друг на друга, — вот чудеса-то!

Ольга Петровна объяснила, что их начальную школу преобразовывают в семилетку, её назначили директором, библиотеку из барского дома переведут в другое помещение, а из города к будущему сентябрю пришлют в помощь сразу трёх новых учителей.

Самое серьёзное затруднение, объяснила она, было в том, что с пятого класса надо учить иностранный язык. Но благодаря Софье Марковне и Саре Семёновне всё уладилось. И та, и другая знают немецкий язык и будут его

преподавать. Кто именно из них, пока ещё не решено. И вот она, новый директор, решила посоветоваться с теми, кто переходит в пятый класс.

— Кого мы пригласим на должность учителя немецкого?

Алёнушка крикнула торопясь, как будто боясь опоздать:

— Софью Марковну!

Остальные голоса вразнобой, но повторили за ней.

Ольга Петровна кивнула головой и бодро сказала:

— Так тому и быть!

5

Если бы потом, позже, Алёнушку спросили, отчего она так полюбила немецкий язык, она бы, пожалуй, не смогла этого объяснить. Да и вовсе она не его полюбила. Если бы Софья Марковна стала учить их французскому языку, она бы точно так же отнеслась и к нему. Или к английскому.

Она полюбила Софью Марковну, вот что! И вместе с ней всё, что она говорила. И как плакала она перед ними, малыши детьми, она тоже любила, и плакала вместе с ней. И этот немецкий — вот парадокс судьбы! — если и полюбила, то только лишь как часть не совсем молодой, но очень искренней учительницы, ни мгновения не скрывавшей, что она еврейка.

И только догадываться можно, почему улыбчивая Софья Марковна, раньше всего, после первых же уроков, хором разучивала с классом фразы, которые могут вдруг совсем неожиданно пригодиться — этим маленьким русским детям, точно таким же, как и все другие дети.

И она научила их, как говорить по-немецки важные для человека слова:

— *Geben Sie mir bitte etwas gegen Husten.* — Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь от кашля.

— *Ich brauche einen Arst.* — Мне нужен врач.

— *Ich habe Fieber.* — У меня температура.

— *Mir ist schwindlig.* — У меня кружится голова.

— *Ich fühle mich unwohl.* — Я нездоров.

Конечно, у них был учебник немецкого, но Алёнушка, как и остальные, сшивала нитками листки бумаги в собственные словарики, повторяя за учительницей чужую речь.

Кроме всего прочего, Алёнушка, не очень даже это чувствуя, заполняла иной речью домашнее малословие и частенько, смеясь, вставляла в разговор с мамёнькой и папой чужое словцо, вроде *битте* — пожалуйста, *энтшульдген зи битте* — извините, скажите, пожалуйста, *ви ком э их?* — как пройти? или *ви шэт ист эс?* — который час?.

Мамёнька, бывало, переспрашивала:

— Что ты говоришь? По-каковски?

А батюшка ничего не говорил, только прижимал иногда к себе, шептал:

— Помоги тебе Господь, доченька!

Многие годы спустя, когда времени для размышлений оказалось с большим переизбытком, Алёнушке вдруг пришла в голову такая мысль — и жестокая, и, пожалуй, милостивая. Господь, подумала она, в канун каких-то непомерных перемен, всё предвидя и всё ведая, жалея, наверно, самых безгрешных, забирает их, никому ничего не объясняя, к себе. Забирает истинно по-Божески, милостиво, безыспытательно.

Как батюшку.

Перед самой войной, в январе сорок первого года, как раз в зимние школьные каникулы, над местами этими, будто о чём-то предупреждая, разразилась невиданная зимняя буря со снегопадом, тоже прежде невиданным. Снег стоял стеной, даже руки протянутой не разглядеть, и все окрестности за считанные часы завалило сугробами небывалой высоты и, главное, рыхлости, пробиться через которые не было никакой возможности. Слава Богу, что большинство домов в деревушке строились как пятистенки, когда жильё человеческое и скот живут под одной большой крышей, там же и живность помельче, вроде поросят, козочек да кур. Лишний раз та странная буря подтвердила предусмотрительность деревенских мудрецов и плотников: спас-

лись, потому что никуда выходить не требовалось. Только баньки в огороде — ну, да потому эта часть и огородом прозвана, что огорожена она со всех сторон слагами, да и до баньки шагов сорок-пятьдесят — не потеряешься.

Вот и пошёл помыться-попариться батенька в это бездельное время, когда никуда по делам не отправишься, а в окно глядеть, за которым стена снега, — прискучит любому, кто без дела не может.

Ушёл, сперва прорыв себе проход, уже не тропу, его ещё и маменька сопровождала, а не вернулся. Через час с лишком Пелагея Матвеевна заволновалась, пошла проведать — опять продвигалась она с широкой фанерной лопатой, пробивая себе путь, — и тут же прибежала назад, закричала, заваляла Алёнушку, и когда та вслед за матерью вбежала в баню — увидела отца обнажённым. Он лежал на широкой полке и даже руки скрестил на груди, омытый, чтобы никого более не беспокоить, вернее — омывшийся, и бездыханный. Маменька закрыла ему глаза.

Сквозь снег пробилась с лопатами в руках к бригадиру Иннокентию. Там же, в бане, он помог одеть папеньку в чистую одежду, которую собрала мама, и сказал, выйдя на улицу и закулив сигарку с махрой, пыхнув в небо, навстречу несущемуся оттуда, не устающему падать потоку снега:

— Вот и изработался ещё один русский мужик, царствие ему небесное.

Только так и отпели папу.

А тишь такая стояла! Если дождь голосист, и на голоса свои многообразен, то снег, падающий стеной, летящий сверху лавиной снежной, в силу неземного таинства этих снежинок, даже в невиданном их изобилии, — тих, вкрадчив, молчалив. И это молчание поглощает любые, самые горькие звуки. Даже громкий женский плач...

Так он и валил непрестанно ровно трое суток. И они не знали, как вывезти гроб с отцом в недалёкое село, — лошади, и даже самый верный конёк, друг отцов Ермоша, не могли пробиться сквозь высоченные, выше них, сугробы снега.

Иннокентий сбил домовину в никитинской ограде, собрал мужиков, и они не без труда, с которым раньше не встречались, отрыли в лесочке, неподалёку от Алёнушкиного дома, сначала площадку от снега, которую всё время заваливало, а потом ломami и топорами отрыли могилку для мало-словного соседушки.

И холмик, и временный крест тут же занесло снегом, а поминки затянулись надолго — деваться народу было некуда, и все вроде даже втайне обрадовались, что вот, гляди-ка, не было счастья, да несчастье помогло: собрал их под снежными завалами добрый работяга Сергей Кузьмич, земля ему пухом!

На четвёртый день, ровно по указу, снег перестал, и Алёнушка с мамой бросились по пояс в снегу к могилке и застыли, поражённые красотой: полянка, усыпанная снегом, на крестике высокие наметы снежные, а всё вокруг сияет, и снег голубым отдаёт. Благодать земная, или, вернее, небесная, зовёт к утешению, к пониманию, что жизнь, оконченная так благостно, — перед смертью покойный сам себя ещё и приготовил, обмыл, только вот бельё чистое сам надеть не успел, — и отход мгновенный, без мук, — это же благодать.

Так-то оно так, но стояли они рядом — нестарая вовсе маменька и девочка её Алёнушка, потерявшие благодатного своего мужа и отца, — и плакали, плакали навзрыд, не соглашаясь с красотой прибранной природой могилки и неожиданной — а когда она жданной-то бывает? — кончиной главной их опоры, силы и надежды.

6

Про войну деревня узнала от Алёнушки: с утра она отправилась в школу, не на уроки, а просто так, ведь были каникулы, да ещё воскресенье, а дома делать было нечего, перевалило девочке к той поре уже за двенадцать лет, и тянуло её или к таким же, как она, — а в сельце-то народу этаких лет немного перебивало, — или к кому постарше, кто к себе допускал.

И была это Софья Марковна.

После смерти отца маменька Пелагея Матвеевна почему-то всё жалела дочку, давала ей подольше поспать в выходные, сама задавая утренние корма скотине, сама выдаивая корову и выгоняя её к общему деревенскому стаду, так что Алёнушка отоспалась досыта, неспешно позавтракала, надела платице получше из всего-то трёх её платиц, и неспешно пошла к сельцу.

Ещё издали она почувствовала непонятное беспокойство, в котором обреталось село, резкие крики, которые вообще-то в прежние, даже праздничные дни, слышались редко.

Дверь в школу была двустворчатая, одна половинка всегда прикрытая, зацепленная на крючки у пола и у потолка. Но на этот раз она была нараспашку.

Первое, что увидела Алёнушка, войдя в школу, были два чемодана. А в классе направо слышались возбужденные голоса. Говорили учителя, громче других — Ольга Петровна.

— Война, война! — громко говорила Ольга Петровна. Перед ней стояли, понурив головы, Софья Марковна и Сара Семёновна. — Для всех война! Не только для вас! Но и для нас! А вы — сразу побежали. От кого? От учеников своих? А куда? Это-то знаете?

Софья и Сара смотрели на неё, не отвечая. И у той, и у другой в глазах стояли слёзы.

— Что же это за учителя? Всё бросили и побежали!

Только тут Ольга Петровна обратила внимание на Алёнушку — махнула рукой на неё:

— Вот видите! Она к вам! — обернулась к девочке. — Ты — к ним?

Алёна кивнула, ничего ещё не понимая.

— Ну, вот! Она к ним! К любимым своим учительницам! А их нет! Они убежали, как... как...

— Ольга Петровна! — почти заплакала Софья Марковна. — Да поймите вы! Мы же от них бежим, давно бежим! В никуда! Немцы нас уничтожают! А мы...

— Ни за что не уничтожат! — Ольга Петровна будто от имени какой-то власти говорила. Громко. Уверенно.

На учительниц это произвело такое впечатление, будто их хлыстом стегнули.

— Вы не знаете! — крикнула Сара Семёновна.

— А что, — совсем, кажется, не вовремя спросила Алёнушка, — случилось?

Ольга Петровна посмотрела на неё сурово, поджав губы. Софья Марковна — совершенно отчаянно. И воскликнула:

— Чего мы и боялись! Война началась! Немцы напали!

Ещё она прибавила, садясь на чемодан измождённо, как будто сильно устав:

— И мы не знаем, что делать.

Тут Алёнушка побежала домой. Эти три версты — то скорым шагом, то бегом — она одолела незаметно для себя, и два не очень понятных чувства, будто на каких-то неведомых весах, то и дело перевешивали в ней друг друга: тревога и неясность. Впрочем, они так похожи, что можно и спутать одно другим — невелика разница.

Тревогу и рождала-то неясность. Алёна не знала, что будет и как будет, и если две приезжие учительницы собрались куда-то дальше бежать, то что делать им с мамой? Бежать? Куда? Ровным счётом никого не было у них на белом свете — ни родных, ни близких знакомых, так что это одиночество хоть как-то — и странным образом — утешало: бежать некуда. Да и что же такое это — бежать? Почему? От кого? Кому они нужны, в чём виноваты, кому мешают?

Добежав до крайнего дома, Алёнушка постучала в окно и крикнула, что было сил:

— Война началась!

И в следующем доме стукнула по раме, опять повторила:

— Война!

На улицу выскакивали люди — всё больше пожилые да дети — молодых мужчин, да и женщин тоже в деревушке было маловато: кто учился в посёлках и больших городах, кто там же пристроился жить и работать. Выбрались из изб два-три парня всего-то, и матери их и бабки тут же заголовостили, без всяких длинных разговоров.

Алёнушка ещё удивилась про себя: чего голосить-то раньше срока? Ведь ничего ещё толком неизвестно, может, война эта тут же и остановится, пойдёт назад, зря, что ли, у нас есть Ворошилов с Будённым, да и армия вон какая!

Однако женщины голосили, пока она бежала, и их голоса как-то крепчали, покуда она двигалась по деревне, а когда вошла в последний, свой собственный, дом, над малой их деревушкой нёсся уже не плач, а какой-то скрипучий скулёж, почти предсмертный выдох.

Маменька была в избе, испуганно оборотилась к Алёнушке, и та проговорила негромко ей, как всем:

— Война!

Навсегда запомнила дочка свою маму в это мгновение. Та вскинула правую руку к сердцу, будто ударило её, села осторожно на лавку и подняла глаза кверху, к потолку, будто вглядывалась в мир, там ей открывшийся, и губами шевелила, будто что-то спрашивала или что-то говорила.

Что она спрашивала, что говорила? И ведь иконки были у них в углу, всегда лампадка светила перед ликом Христа и Богородицы, но маменька теперь не туда смотрела, а в сторону прямо противоположную — на запад, а там, как немножко знала Алёнушка, дьявол обретается. Если на востоке — Господь, то на западе — дьявол, вот что, ведь об этом же и священник говорит, когда детей крестит, маманя ей рассказывала. Храма-то в сельце, где школа, уже не было при Алёнушкиной сознательной жизни, и сама она крещения видеть не могла, а маменька подробно рассказывала, как её же, Алёнушку, и крестил последний сельский батюшка незадолго до того, как церквушку разорили.

Маменька тогда, при известии о войне, не с Богом говорила, а с дьяволом. И что-то ему шептала — отогнать, что ли, хотела... Но разве по силам это слабой деревенской женщине?

7

Каждый день бежала Алёнушка в сельцо. Школа, как и сельсовет, была радиофицирована, и посреди самого большого класса, там, где раньше библиотека располагалась, поначалу толпилось немало народу — слушали, что Москва скажет. Старики между собой говорили, высказывались, но отрывисто, несвязно, а те, кто помоложе, стали быстро исчезать: уходили в армию. Так что в пару расхлябанных грузовиков, пригнанных в течение недели, уместилось всё боеспособное население окрестных деревушек, и настало тихое ожидание.

И будто на глазах менялась Ольга Петровна.

В первый день войны она шумела на Софью и Сару, топала каблуками, произносила громкие слова, но учительницы, немного поспорив и даже поплакав, сделали по-своему. Бросили все свои пожитки в полузакрытых чемоданах прямо у входа, внизу, и исчезли, ни с кем не прощаясь.

Ольга Петровна побегала, пометала громы и молнии, а после того, как ушёл к железнодорожному переезду второй грузовик с будущими солдатами, а в нём и её муж, Николай Петрович, как-то сразу сникла. Сидела в школе с утра до ночи, а в большом классе из чёрного круглого репродуктора слышались то речи, то музыка, то ещё что-то. И сюда, к Ольге Петровне, теперь все заходили без спросу, не стучась, только тихо здороваясь да снимая шапку, если старик или мальчишка.

Из географических карт Ольга Петровна выбрала карту Европейской части СССР и постоянно переклеивала на ней красную линию фронта. За один день несколько раз — и все ходили смотреть на эту линию. Со страхом и непониманием.

Дальнейшее произошло как-то совсем уж обыкновенно.

Они сидели вокруг говорящей тарелки, на улице затарахтел мотор, но мало кто обратил на это внимание, потому что Левитан читал сводку Совинформбюро, и только когда в прихожей застучали сапоги, люди обернулись.

На пороге стоял немец с засученными рукавами, приветливо улыбаясь, но автомат его глядел на репродуктор. Он неторопливо оглядел общество — дети, старухи, старики, Ольга Петровна, отошедшая к карте. Вежливо и без всякой издёвки он поздоровался:

— Гутен таг!

Посмотрел на радиотарелку, стоявшую на невысоком столике у стены, поднял автомат, аккуратно прицелился и выстрелил прямо в центр.

Выстрел, точно гром, оглушил, заложило уши, чёрная тарелка поднялась в воздух и, сделав пару оборотов, рухнула на пол. Все неумело отпрянули в стороны, так и не вскочив со стульев. Ольга Петровна прижалась к доске у карты.

Немец кивнул Ольге Петровне, будто старой знакомой, сказал:

— Гутен дер лерер! Фронтен латнен!

Покивал головой. Подошёл к карте, оглянулся. На подоконнике лежала старая ученическая ручка с 86-м пером — такими перьями писала вся школа. Он кивнул сам себе, взгляделся в карту, висевшую плотно к деревянной стене дома, приставил перышко к Москве и другой ладонью крепко вдавил его в красную звездочку.

— Шнеллер, шнеллер, — сказал он, и Алёнушка-то знала, что это значит: «Скоро, скоро».

Но это было не всё. Обращаясь вежливо, повторяя своё “пожалуйста” — *битте, битте*, — он вывел людей на улицу. Алёнушка оглянулась и ахнула: на скамье возле школы — это была широкая, деревянная деревенская скамья, продолжавшая завалинку, — сидели Софья Марковна и Сара Семёновна.

Алёнушка даже вскрикнула от радости и сделала первый шаг, кинулась к ним, чтобы приблизиться, даже обнять их, но кто-то крепко схватил её за запястье. Это оказалась Ольга Петровна.

Она послушалась, остановилась, взгляделась в учительниц. Конечно, на лицах изнеможение, тревога, но и платья, и обувь были в порядке, и даже их причёски не выдавали никакой тревоги — учительницы были причёсаны как обычно.

Всё тот же немец спросил, оглядывая лица выгнанных из школы, по-немецки, конечно, но все всё поняли, не зря же с пятого класса Софья Марковна учила их немецкому.

— Ваши учителя?

Первыми закивали Софья и Сара, будто разрешали это подтвердить.

Алёнушка произнесла чуть громче:

— Зер гут дер лерер! — Очень хорошие учителя!

Немец поглядел на Алёнушку, произнес удивлённо:

— Ихь данке иннен! — Благодарю вас. — Филен данк фюр ире хильфэ. — Большое спасибо за помощь.

Алёнушка смугилась и спряталась за широкую Ольгу Петровну, а та шепнула ей:

— Молчи!

Со всех сторон сельца немцы стогнали народ. Но это не выглядело страшно. Некоторые из солдат даже шли впереди селян, улыбались, щёлкали семечки, о чём-то шутили по-немецки, и люди, взрослые и дети, не понимая ничего, не зная, страшиться или смеяться, шли к школе. Кроме тех, кто в форме, были тут и дядьки с белыми повязками на рукавах, русские, хотя не свои, прибыли, может, из райцентра. Свой только один — старый мужчина по прозвищу Кацавей. То ли фамилия такая, то ли имя, Алёнушке было неведомо. Зато она знала, что он заведовал птицефермой, из грамотных.

Кацавей был чуточку повыше других мужчин с повязками, и хотя такого знака отличия на рукаве не носил, стало сразу ясно, что он у этих-то глав-

ный. Подошёл к школе, старшему немцу поклонился, а Ольге Петровне громко, чтобы слышали другие, сказал, кивая на учительниц:

— Их на станции поймали. Чёрт бы их побрал! Даже удрать не могут! А ещё большевички, с партбилетами!

Тем временем другие солдаты, подчинённые тому, кто выстрелил в репродуктор, что-то докладывали ему, так, однако, быстро, что Алёнушка понимала лишь отдельные слова, показывали куда-то за здание, потом поманили Алёнушку. Вернее, на неё указал помощник этого старшего, позвал пойти с ним в школу. Там он повторил раза три:

— Картонен, картонен!

Алёнушка сходила в учительскую и нашла альбомчик для рисования, обложка которого была из картона, довольно плотного и светлого — желтоватого, пожалуй, цвета. Солдат попросил шпагата, но Алёнушка принесла ему скакалку, которая была, конечно, толще шпагата. Однако он обрадовался, стал резать её острым ножом, который выхватил откуда-то из-за пазухи, а ей велел взять карандаш и написать на картоне: “Юден”.

— Что? — не поняла Алёнушка.

— Юден, юден, — засмеялся немец, но она пожалала плечами, и тогда немец написал на подвернувшейся тетрадке это слово: “Юден”, — и велел, чтобы девочка написала его на картоне, да поярче, пожирнее.

Алёнушка ничего не понимала. Её просили. Немец довольно приветливо несколько раз повторил: “Битте! Битте!”. Мол, пожалуйста. Ничего не понимая, она переписала это слово: “Юден”. На двух картонках. Но руки дрожали. И сердце билось, вырывалось из груди. Когда она закончила, немец продырявил два верхних края у картонки и привязал половинки скакалки. И к той, и к другой. Позвал Алёнушку:

— Коммен битте!

Когда они вышли, главный немец и его солдаты уже передвинули народ в школьный двор. Там стоял обыкновенный турник. К нему были привязаны две петли. Народ, чувствуя неладное, заметался, зашумел. Вот тут и прогремел первый выстрел. Всё тот же главный дал короткую очередь вверх. От народа требовали покорности. Уже без всяких “битте”.

Все, что произошло дальше, заняло от силы десять минут. Алёнушку шатало, будто ветер на неё налетал. Всё до конца отстояв, она упала без сознания, прямо тут, в школьном дворе, пока Ольга Петровна, сама кое-как приди в себя, не подошла к ней и не перетащила девочку к школьному входу.

А увидела Алёнушка вот что. На Соню и на Сару накинута те самые таблички, которые она написала. На табличках по-немецки обозначилось, что они “юден”. Оказалось, это слово означает “еврей”. Всего-то навсего.

И главный немец сказал:

— Аллес юден капут. — Всем евреям конец.

И произнёс ещё одну фразу, потруднее. Алёнушка-то её поняла, но остальной народ не мог разобраться, и тогда он вежливо попросил перевести сказанное несчастную Софью Марковну. Она отвела взгляд в сторону, от этого немца, помолчала мгновение. Он вежливо повторил:

— Битте!

И она перевела то, что он объяснил народу:

— Мы освободим вас от евреев и коммунистов.

Потом тот, с которым Алёнушка делала таблички, вежливо улыбаясь, накинута Софье и Саре петли, свисавшие с турника. Перед тем учительницам связали руки и поставили на короткое брёвнышко. Оно шевелилось под ними, норовило выкатиться. Соня и Сара громко заговорили, перебивая друг друга. Жаль, что они кричали только по-немецки, наверное, стараясь объяснить этим солдатам, что ни в чём не виноваты. Они не крикнули людям — прощайте! Или что-нибудь такое. Они не просили защиты — что они могли, эти люди, в самом-то деле?

И Алёнушка тоже тогда закричала. Она кричала от беды. От своей собственной беды, только сейчас поняв, что помогла немцам. Что это ведь она, а не они, написала слово “юден” два раза, пусть и не понимая, не зная, что после этого произойдёт, и пусть даже никто, кроме того немца, не видел этого.

Она закричала, как бы продолжая крик Софьи и Сары, которые уже умолкли, качаясь на турнике.

Короткое брёвнышко из-под них выкатил всё тот же ретивый немец, их тела судорожно задргались, будто они норовили вырваться, у Софьи Марковны из открытого рта выполз язык, ноги ещё подёргались в разные стороны и подошвы туфель закачались совсем неподалёку от серой пыли — в каких-нибудь нескольких сантиметрах.

И тут Алёнушка увидела, что по одной ноге Софьи Марковны что-то течёт. И капает в эту серую пыль. А чулки, прочные женские чулки в резилочку, коричневого цвета, чернеют, намокая. По ногам учительницы Сары тоже что-то бежало, струилось, довольно сильно, сливалось на землю. И снова они яростно задргали ногами, будто скидывали с себя туфли. Одна туфля с Софьиной ноги сорвалась на самом деле и упала под ноги толпе, будто самое последнее и самое отчаянное доказательство её невинности.

Люди, окружившие виселицу, отшатнулись, человеческий круг ослаб, а главный немец уже без перевода повторил:

— Мы освободили вас от евреев и коммунистов.

Алёнушка рухнула, точно подкошенная травинка.

8

Очнулась она от чего-то холодного, обмывающего, овевающего её лицо. Оказалось, Ольга Петровна набирает в рот воду из кружки и брызгает ей в лицо, как брызжут, например, на ткань, когда глядят её утюгом.

Алёнушка сжалась и встала на ноги. Голова кружилась, первые шаги она сделала неуверенно, но пришла в себя быстро. Увидела, что толпа разошлась, немцев нет, их машины, пыля, уже были за сельской околицей, а Софья и Сара лежат возле турника, кем-то снятые, освобождённые от петель. Три или четыре старика что-то негромко обсуждали, и девочка не сразу разобрала, что решается вопрос о том, где и как схоронить учительниц. Потом она поняла, о чём они говорят, и опять похолодела. Дядьки считали, что на изготовление гроба нужны струганные доски, а их нет, и кто-то из стариков предлагал разломать забор да и сбить гробы из этого почерневшего материала, другой же возражал, что лучше уж сшить саван из простыней да и закопать таким старинным способом.

Ольга Петровна уже несколько раз велела Алёнушке идти домой, не детское это дело — готовить покойников к загробной жизни, но Алёнушка зачем-то молча не соглашалась, упиралась и снова упала в обморок, но чуть позже...

Старики по требованию Ольги Петровны переложили покойных на простыню, которую взяли наверху, в комнате, где жили Софья и Сара, перенесли учительниц в школу и положили на два длинных стола, за которыми раньше заседали их небольшой педсовет.

Ольга Петровна велела обернуть покойниц лицом вниз, принесла ножницы и принялась, всхлипывая, разрезать их платья сзади. Она точно и не сразу заметила-то Алёнушку — та забилась в угол и почти не дышала. А когда заметила, даже выругалась по-мужски.

— Ну, всё! — проговорила глубоким каким-то не своим голосом. Будто голос её шёл прямо из живота. Каким-то нечеловеческим голосом говорила Ольга Петровна, не повышая его, словно сама себе. — Я их сейчас должна раздеть, потом обмыть. И снова одеть.

Помолчала и прибавила.

— Это пока не для тебя. Иди домой. Хоронить станем утром. В девять соберитесь, кто может.

Но утром, когда Алёнушка и другие старшекласники собрались у школы, Ольга Петровна сидела на крыльчке и качалась из стороны в сторону. Сказала всем, что Софью Марковну и Сару Семёновну похоронили вечером, на краю кладбища, зашитыми в пододеяльники.

Они пошли тихой гурьбой к месту упокоения и нашли невысокий глиняный холмик, без всякого креста, с толстой, лишь оскобленной от коры пал-

кой, вдоль которой, как в тетрадке, химическим карандашом были написаны имена учительниц и вчерашняя дата: “С. М. Моргенштерн, С. С. Гольц”.

Когда они родились и где, никто толком не знал. Поэтому и писать не стали.

Так закончилось Алёнушкино детство.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

УЗЕЛ

1

А взрослость не заставила себя ждать. Впрочем, если подумать хорошенько, и каждому себя же и про себя повспоминать, почти всякий, пожалуй, согласится, что взрослость не по паспорту к нам является, не враз, не по звону какому колокольному.

Мысли-то взрослые свободно приходят к невзрослым людям, тут удивления нет. И судьба взрослые удары наносит по невзрослым ещё, да и вовсе малым людям, не считаясь с их годами.

Взрослость, пожалуй, это такой узел событий, завязанный, чаще всего, не тобой и не по твоей вине. Но так крепко, так тяжело завязанный, что надеяться не на кого, кроме как на себя, и ты должен, должен, должен, разрывая в кровь руки и душу, во что бы то ни стало развязать его. Чтобы жить вольно и справедливо.

Вот такое, может быть, развязывание, эта иногда бесконечная, пока ты жив, работа для освобождения своего и для достижения любви и воли, и есть взрослость, а?

2

А узел Алёнушкиной судьбы завязывался всё туже. И не сразу, нет, не сразу поняла она это — потом.

Забывая Богом, их деревушка оказалась забытой и врагами. Издалека доносились раскаты грома среди летних дней начала войны, потом они стихли, и всё как будто замерло тоже. Молодых парней, которых не так-то и много водилось в Алёнушкиной деревне, забрала война, а те, что тихо подрастали вслед за ними, тоже исчезали в неизвестном направлении, и об этом никто ничего не говорил — были, да исчезли.

Издалека доходила молва, что где-то в дальних лесах обосновался партизанский отряд, но никаких военных действий не происходило, стояла тишь, даже и до сельца немцы больше не доезжали. А в деревушке они так ни разу и не появились — это просто война ушла на восток.

Не раз, ясное дело, Алёнушка бегала в школу, виделась с Ольгой Петровной, Анне Ивановне кланялась, приходила и на могилку так и не понятых никем Софии и Сары.

Ольга Петровна пояснила Алёнушке, что свидетельство об окончании семи классов она получит, так что беспокоиться не надо ни ей, ни другим девочкам, с которыми она вместе училась, а вот мальчишкам надо куда-то уходить, если ещё не ушли, куда-то прятаться, если не спрятались.

А школа? Школа работать не будет, пока идёт война.

— Вот кончится всё, тогда откроют снова. Кто откроет? Наши? Немцы? Неизвестно.

И прибавила тогда:

— Но я на немцев работать не стану.

Впрочем, учить детей её заставили. И не немцы, а свои же. По слухам, — это Алёнушка сама не видела, — матери пришли в школу и стали просить Ольгу Петровну с Анной Ивановной, чтоб худо-бедно, но учили бы они подрастающих малышей. Пусть хотя бы начальная школа опять заработает.

— Чему учить-то? — мрачно спрашивала Ольга Петровна.

— Арифметике, чтению, письму, — мудро уговаривали женщины. — Остальное пока подождёт.

— Надо разрешение получить, — вздыхала Анна Ивановна.

И разрешение ей принесли, прямо в школу. Село, чтоб не сориться с немцами, выбрало в старосты всё того же Кацавея, он съездил в райцентр, получил печать и позволение открыть начальную школу. И староста, и Ольга Петровна были из людей немолодых, рождённых до революции. Этот старый заведующий птицефермой ещё при царе окончил церковно-приходскую школу и в активные, да ещё политические, при советской власти никогда не лез, зато теперь вдруг ожил, отдал на смерть двух евреек, вдруг оказавшихся большевиками, тем отличился и новым властям пригодился. А Ольга Петровна год проучилась в учительском институте — всё за той же, за революцией ещё, и бумагу на её имя, разрешающую открыть школу, — слава Богу, что заведующая была до войны беспартийной, — принёс всё тот же староста Кацавей с устным обещанием властей её школу через месяц проверить. Школа снова становилась четырёхлетней и требовалось повесить на стенку портрет Гитлера. Его Кацавей обещал привезти из района. Вот ужас-то!

Вот, наверное, и всё, что знала Алёнушка, с маменькой своей Пелагеей Матвеевной проживая на окраине деревеньки в трёх верстах от сельца. Сохранилась у них коровка, пара поросят, куры с цыплятами, да гусь с гусьней и целым выводком детишек своих, выращавших каждую осень. Да огород, который мог бы и немереным быть, если бы сил хватило. Но откуда много-то сил у двух женщин, из которых одна — почти ребёнок. А конёк их Ермоша, потеряв своего друга и хозяина, впал в тоску, всё время дрожал, и вскорости после смерти папёнки рухнул. Так что лошади и хлопот с ней уже не было.

Еды, кроме хлеба, всегда хватало, а хлеб пекли сами, и было в их домишке тепло, тихо, светло, только ходики постукивали. Жили без всякого электричества, без радио, запасы керосиновые батюшка, царствие ему небесное, навозил из села такие, что на лампу, в ограниченное, конечно, время, хватало до сих пор, уже спустя два года после его упокоения.

Вот к батюшке на могилку ходить каждый Божий день и в любую погоду стало для Пелагеи Матвеевны с Алёнушкой печальным и любимым праздником.

Поминать усопших и так-то в крови русского человека. Но когда есть такие обстоятельства, что могилка в ста шагах всего, да в зелёном, нарядном зелёном же мхом уложенном лесочке, а не на кладбище, где сама печаль-то будто дробится на многие и многие кресты и пирамидки, тянет туда бесконечно. Словно какая, ничем лишним не омраченная благодать.

И неизвестно, как назвать это чувство... Поклонение? Скорбь? А может, приуготовление к встрече — скорой или нескорой? В мире, где всё по-другому? Где не надо ничего уже ждать — ни радости, ни печали, и всё, что есть там, за незнаемой чертой, спокойствие и благодать, чего так не хватает людям в этом мире, — таком брэнном, таком неверном?..

Вот зимняя дорожка между деревушкой и сельцом. Когда-то по ней нетнет, да и пробегала лошадка, оставив санный след. А теперь — ровное снежное полотно. И человеческий-то след редко прострочит эту белую простынь — деревенские не хотят ходить в село, опасаются встреч с любыми людьми, кроме своих, деревенских и в лицо известных. А сельским — что за дело до всеми забытой деревни?

Покой.

Покой, да временный. Ненадёжный.

До весны.

Или до войны, которая куда-то закатилась.

3

В то первое утро после казни и после кладбища, где упокоились молодые учительницы, Алёнушка прибрела к школе пораньше и, дожидаясь других, как-то случайно, что ли, совсем не думая, что делает, поднялась на второй этаж, где жили Софья и Сара.

Дверь была распахнута, а небольшая комнатка казалась перетряхнутой, будто что-то тут искали. Но если и искали, то в старом бельевом шкафу справа от входа — он был открыт, из него свисало ношеное женское бельё, да на двух кроватях возле окон были скомканы простыни и одеяла.

Шкафчик же прямо напротив входа стоял закрытым, и когда Алёнушка отворила его, то обнаружила в нём упавшую фотографию — её, видать не заметили, впопыхах собирая вещи, да ещё плоский альбомчик, почти тетрадь. На фото были Софья и Сара в кругу каких-то людей, видать, родных, весело улыбались, совсем не похожие на себя.

Алёнушка отложила фотографию в сторону. Потом раскрыла тетрадь в довольно толстом нарядном переплёте из шёлка, цвета тёмно-фиолетового, не бросающегося в глаза. Даже не тетрадь, пожалуй, а альбом.

В тетрадь были вписаны стихи. Она взгляделась в буквы. Стихи на немецком языке. На первой странице, под папиросной бумагой, виднелась каллиграфическая подпись, тоже по-немецки. Это она могла прочитать: “Дорогой Софии Моргенштерн в день её конфирмации от дирекции школы имени Канта”.

Она взяла этот альбом и заодно учебник немецкого языка для 10 класса, надо же!

Фотография, где навеки остались учительницы, — одна любимая, а другая — так себе, — учебник немецкого и альбом со стихами переехали теперь в деревенский шкафчик Алёнушки, который сделал отец своими руками и который совсем не для таких целей был, конечно, предназначен, а для посуды. Что поделаешь, посуда, — да и много ли её было-то у маменьки, — чуть подвинулась, уступив место важным вещам: ведь над всем этим возвышалось не очень ярко напечатанное, но всё же казённое, а значит, ценное свидетельство об окончании Никитиной Алёной Сергеевной семилетней школы.

Алёнушка нечасто брала в руки альбом, но с учебником не расставалась. Когда она громко повторяла слова и фразы по-немецки, маменька всегда вздрагивала и напрягалась, поэтому девочка уходила с ним во двор, а ещё лучше — в лесок, к батюшке, на зелёный нежный ковёр, сшитый кем-то, любящим красоту, из изумрудного мха.

Здесь никто не смущал её повторять слова враждебного языка. Конечно, язык тут ни при чём, ведь Софья Марковна была еврейкой, которую ни за что убили немцы. Но это она же так выразительно повторяла им немецкие слова, объясняя — а вдруг им пригодятся?

И Алёнушка разучивала их, не уставая.

— Вохин (Wohin?) — куда?; дортхин (dorthin) — туда; хирхер (hierher) — сюда; форверц (vorwärts) — вперед; рюквэрц (rückwärts) — назад.

А “назад” звучит ещё и как “цурюк” — zurück.

Цурюк — урюк — назад! Легко учиться, когда делать нечего и ничто не мешает. Ничто не отвлекает, кроме... Кроме войны!

Учить все эти слова Алёнушке странным образом помогала память о Софье Марковне. Всё кончено, её нет на свете, но почему же, почему Алёне слышится её всегда вкрадчивый голос, мягкие звуки её речи — ведь ничего другого-то она и не знала о своей учительнице, даже фамилию её прочитала уже на столбике, вбитом в её могилку. Бог ты мой! Моргенштерн! Теперь Алёнушка уже сама была в состоянии понять, что означало это слово в переводе на русский... “Утренняя звезда”. Утро ведь — морген. “Гутен морген”, — говорят, где-то встречаясь между собой, немцы. А штерн — это звезда. Но где же ещё встречаются немцы, готовые сказать “Доброе утро”? Неужели это те же самые солдаты, которые убили учительниц? И они говорят: “Доброе утро”? Кому?..

Алёнушку однажды будто ударило. Почему, подумала она, Софья Марковна, говорившая, что они еврейки, носила немецкую фамилию? Что это означает?

Она даже и не спросила, а сказала об этом маменьке, но та замотала головой от страха и незнания, соединённых вместе: уж она-то не знала и даже знать такого не хотела — подальше от греха!

А в альбоме убиенной Сони, как обнаружила сразу же Алёнушка, и была-то записана всего лишь одна фраза, всё остальное было чистым, будто кому-то предлагалось заполнить эту пустоту, написать какие-то слова, мысли. Или, может быть, стихи?

Фраза же, написанная, наверное, учительницей в её детстве, выглядела так:

“Nicht vergebens hörtest von Kindheit an russische Laute...”*

Это была сложная для Алёнушки фраза, чтобы перевести её, требовалось другое, чем у неё, умение. Три-то последних слова она понимала: в детстве, русские, звуки. Но слова, стоявшие впереди, никак не соединялись в смысл. Так ей и запомнилось: в детстве... русские... звуки...

4

Летом немцы всё-таки добрались и до деревушки. Сначала на околице застрекотали мотоциклы, вслед за ними, покачиваясь на ухабах из стороны в сторону, въехала странная, невиданная, из одних углов и состоящая железная машина. Оттуда выскочили солдаты. Следом двигались два длинных грузовика на больших колёсах.

При въезде один мотоциклист дал очередь в воздух, чтобы, наверное, народ вышел из своих домов. Или разбежался? А потом началось мамаево побоище.

Солдаты со смехом распахивали ворота и ловили всякую живность. Сначала к одному грузовику приладили доски от первого же разобранного забора, и загнали туда, со свистом и криками, трёх или четырёх коров. Уже там, в кузове, закрытом брезентом, раздавались выстрелы, всё утихло — и без слов ясно было, что делалось это для облегчения солдатского труда — загнать в кузов корову и там её пристрелить гораздо легче, чем поднимать на руках тяжёлую тушу.

Потом пошли свиньи. Их гнали пинками, велели хозяйкам помогать, подталкивать к грузовику свою собственную скотинку. Да ещё и уговаривать поросят, чтоб шли спокойнее, не визжали, не убегали в сторону. Свинячий визг, коровий рёв и бабы крики сливались в дикий вопль. Казалось, кричала вся деревня, всё её население — и человечье, и скотское.

К дому Алёнушки и мамы её немцы приблизились, сильно устав, уже без команд и смеха. Свиней выгнали скоро, увидели и корову. Алёнушка легко поняла, как один солдат спросил другого:

— Что делать с коровой?

— Давай оставим. Уже нет никаких сил. Мы ведь ещё сюда вернёмся, не так ли? За нашей жратвой.

И они захохотали.

Всё-таки была польза, что домишко стоял в конце деревни, — дальше дороги нет, сплошной лес. Ещё год они пережили — спасла их коровушка, да и со всей деревней делились — для детишек.

Вот ведь! Будто налетели коршуны, всё, что могли, забрали и улетели. Снова настала тишь. Да такая, что не поймёшь — что с ними, где они, почему жизнь остановилась, и нет о ней никаких известий? Где-то там идёт война, но о ней ничего не известно. Старики, женщины и дети — вот и вся деревня о десяток изб. Молодые исчезли. Не появляются. Убили, что ли, всех? Все на фронте? А их деревня, да и сельцо — уж такой-разэтакий тупик и угол, куда и сунуться-то некогда — ни тем, ни этим?

Алёнушка приходила в школу, виделась с Ольгой Петровной. Всегда приносила ей то молока, то сметанки, то авоську картошки. И хотя сельцо, где школа, располагало такого-то рода деревенской едой, постаревшая, осунувшаяся учительница дары принимала благосклонно, кивала и пыталась улыбнуться, да плохо у неё это получалось. Будто бы выдыхалась она от чего-то, как выдыхается человек от долгого бега, дальней ходьбы, тяжёлой ноши. Не раз и не два сказала она Алёнушке:

* “Недаром русские ты с детства помнил звуки...”

— Не переживу я этого! Да и не хочу...

— Как же! — удивлялась девочка и приводила главное доказательство: — А кто же учить-то станет?

— Нура, — отвечала Ольга Петровна, имея в виду Анну Ивановну. — Или вот ты?

— Я?

— А что? — не улыбалась, а кивала сама себе Ольга Петровна. — Грамотная, значит, сможешь. Вон Соня-то с Сарой никакими учительницами не были. Одна кончила музыкальную школу, другая — гимназию, а учили ведь... Учили?

— Учили.

— А я, дура, их поругивала! Простите, девочки!

Ничего серьёзного Алёнушка у Ольги Петровны выведать никогда не могла. Хотя и учительница, даже заведующая школой, но плохо Ольга Петровна про войну знала, а от сельского старосты узнавать не хотела. Вроде как тихо в их краю, только вот немцы скот забирают, в райцентре заработал православный храм, и народ туда ходит, партизаны есть, но где-то южнее, на много сотен вёрст. Какая-то тишина. Невоенная совсем.

— Но всё кончится плохо, — повторяла Ольга Петровна. — В какую сторону, не знаю. Мне могут сказать — зачем учила? И мне же могут сказать — зачем не учила... А портрет Гитлера я не повешу, пусть расстреливают!

5

На третий год войны Алёнушке исполнилось пятнадцать лет, а в начале осени, — был сентябрь, — снова явились немцы. Скот их не интересовал, хотя какую-никакую живность народ деревенский восстановил. Теперь, как выяснилось, их интересовали люди.

Жестами они показали, чтобы из дома вышли все: и млад, и стар, и тем, кто ещё был хоть в каких-то силах, приказали пройти и сесть в грузовик. Можно было брать мешочек, котомочку, узелок — с бельём, с мылом, зубным порошком и щёткой. Вот про всё про это объясняла уже Алёнушка. Так получилось!

А просто когда подошли к их дому, и солдат с автоматом на груди стал мучительно, в десятый раз объяснять, конечно, по-немецки, помогая себе жестами, чтоб собрались и выходили. Алёнушка не удержалась и бросила ему по-немецки же:

— Понятно.

Немец обрадовано вздёрнулся, спросил:

— Шпрехен зи дойч? — Говоришь по-немецки?

Она кивнула.

— Гут, гут, — заворковал солдат, несильно взял Алёнушку за запястье, велел, чтоб матушка собирала вещи, а сам отвёл девочку к своему, похоже, командиру.

Всё, что он сказал лейтенанту, девочка поняла, а сказал он про хорошую находку — эту девочку, которая знает немецкий и может помочь.

Лейтенант был чуточку постарше солдата, выглядел совершенно обычно, ничего злодейского Алёнушка в нём не находила — просто симпатичный парень, только в немецкой форме и говорит не по-русски. Он был в пилотке, в зелёном френче, грыз соломинку, лежал на траве и жмурился от солнца.

— Откуда ты знаешь немецкий? — спросил он доброжелательно.

— Учила в школе.

— О-о! Жаль, что я не учил в школе русский. Не потребовалась бы твоя помощь. А сейчас помоги своим соседям. Переведи людям, что надо им брать с собой. Поедете на земляные работы. Всего-то!

И Алёнушка вновь пошла по деревне рядом с первым солдатом, с тем, который обнаружил её немецкий язык, и всем повторяла одно и то же:

— Едем на земляные работы. Возьмите с собой то-то и то-то.

Все эти люди знали её. С детства самого малого — с младенчества. И была она для них маленькой Алёнушкой. Никто её особенно-то не миловал —

таковы деревенские правила. Но все её знали, а её родителей, маменьку Пелагею Матвеевну и отца Сергея Кузьмича, уважали. А потому сейчас, когда она шла рядом с немцем, глядели на неё с какой-то странной надеждой, с потаённой мыслью, что Алёнушка-то не навредит, и все её самые простейшие слова о том, что надо взять с собой, принимали охотно и чуть ли не благодарили. И только возле предпоследнего дома соседка тётка Клава на Алёнушку поглядела безблагодарно, а, напротив, жестоко, и Алёнушка поёжилась от этого взгляда. Почему? Она ведь помогала своим же деревенским людям правильно понять этих немцев, взять с собой, если уж надо ехать на земляные работы, всё, что надо, и ничего не забыть, разве такое — грех? Но Клавдия, выслушав её, сверкнула оком, отвернулась и негромким, ровным голосом, чтобы ничего не заподозрил немец, спросила:

— Что же ты, девочка?

Алёнушке не пришло в голову удивиться или ответить в своё если и не оправдание, то объяснение. Просто слёзы выступили. И она опустила голову.

6

В холодном железном кузове немецкого грузовика, подпрыгивая вместе со всеми на ухабах, подталкивая под себя жидкий узелок с бедным своим скарбом, хватаясь за маму, Алёнушка время от времени поглядывала и на Клавдию.

Та оставила в своём доме совсем старую мать, которую Пелагея Матвеевна упросила следить за их коровой, да и за всем домом. Как и все, кто ехал теперь от дома в неведомую сторону на незнакомые труды, отдали малых детей и живность хоть на кого-то, кто оставался дома.

А у Алёнушки с маменькой никого не было. Палка, приёртая к воротам, охраняла их хозяйство. Выходило, что Клавдия-то ещё имела хоть какую привилегию — живую душу в родном доме. Да двое детей ещё остались у неё — два росточка, мальчик и девочка.

Может, всё это прожевав и осмыслив, да и сравнивая детей своих с Алёнушкой, которую на работы забрали, тётя Клава, — приветливый ведь раньше-то был человек, — время от времени искательно поглядывала на неё. Хотела, что ли, заглядить как-то свою вину? Да сидела она в конце кузова, и мотало их всех хорошенько, так что было не до того. Не до чувств, не до разговоров.

Ехали они какими-то рывками. В селе к ним в кузов посадили сразу человек двадцать, стало тесно. Всё женщины да девушки — и все постарше Алёнушки. Несколько старых мужчин. Можно было бы назвать их стариками, да не совсем. Не совсем, в общем, старые старики.

Стоять в кузове не позволялось, выглядывать можно было только на редких остановках, даже для исправления надобностей и то остановились лишь один раз, прямо почему-то в поле. Может, для безопасности?

Постепенно к грузовику присоединился ещё один, и ещё. Или он присоединился к другим — поди пойми. Когда в сумерках подъехали к опушке молодого низенького леса, машин оказалось уже до двух десятков, но на том месте был уже и народ — что-то копали.

Тех немцев, что забирали их в деревне, не оказалось. К машине подошёл небритый мужчина в пиджаке, в сапогах, увожённых глиной, с белой повязкой на руке, спросил, откуда они, ничего не понял и указал в сторону подлеска. Там костры, кухня, палатки для первого ночлега. Утром выдали лопаты, и началась работа.

Их просто вывели на окраину леса, вдоль которого были вбиты кольшики, протянут шпагат. По этим линиям надо было копать, землю выбрасывать вперёд. Немолодой немец в грязных, как и у полицая, сапогах, строительный, наверное, начальник невысокого чина, объяснял, часто повторяя слово “эскарп”. Как и “шпагат”, это были явно немецкие слова. Похоже, это укрытие для орудия, догадывалась Алёнушка. А раз окоп этот длинный, на много метров, то для множества орудий. Ещё она подумала: “Ох, и стрельба будет!”. Вот и пришла война-то. Вернее, их пригнали к войне.

В лесочке ничего для жизни людей не было. Кого-то направили отрыть ямы для туалетов, строить деревянные будки. Всех мужчин, даже старших, заставили соорудить бараки — это уже подальше, за пару сотен метров, поглубже в лес. Через день-другой стали водить колоннами на ночёвку в эти бараки. А утром — к эскарпу.

Ночевали на деревянных полотах, без всяких подстилок и подушек. Мыться было негде, только умывались, прямо из вёдер, которые наставили как попало. Быстро появились вши. Женщины стали просить помывку. Хотя какую-нибудь, хоть просто у лесного озера. Говорили это полициям, те отмахивались, но, видать, всё-таки немцам докладывали, и те велели построить на берегу озера ещё один, банный барак, где женщины и стирали, и сами мылись, и выжаривали вшей возле пары железных печек, привезённых откуда-то полициями.

Новая жизнь людей меняла не в недели, не в месяцы, а в считанные часы. Некоторые как-то разом собрались. Стали подтянутее, даже крепче. Все тяготы, пока ещё не самые трудные, одолевали, почти их не замечая. Да и выглядели-то эти люди отлично от остальных. Вон тётя Клава-то, соседка, обидевшая Алёнушку. Как только сошли они все из кузова на твёрдую здешнюю землю, подошла к девочке и прямо при матери её, Пелагее Матвеевне, сказала:

— Прости меня, Алёнушка, я-то, дура, подумала, что ты в услужение пошла. А ты и сама тут-ка... Детей-то хоть бы в покое оставили.

Ни Алёнушка, ни маменька ничего ответить не нашлись — Клава уже отошла. Злая, собранная, сильная... Да и что ответишь-то, что тут объяснить надо?

Клавдия сильно от остальных не отличалась. Росту выше среднего, но и не высокая, была она по-мужицки широка в плечах, да и бёдра по-бабы крепки, мощная грудь, икры ног — широкие и сильные, руки ухватистые, крепкие. И глаза! Чёрные, жгучие, почти цыганские, они Клавдии никак не давали скрывать её чувства. Разве что она их прикрывала когда. А так! Смотрит — будто из двустволки целится, пока не прикроет взгляд свой веками, не отвернёт в сторону. И характер — по всем этим меркам — лобовой, прямой, неуклончивый.

Вроде ничего такого и не сделала Клавдия, слова лишнего не сказала, но как стали раскладываться бабы в бараке, все деревенские улеглись рядом с ней, да и сельские тоже. Но самое удивительное, что и другие, вовсе незнакомые, как-то всё жалась ближе и ночевать хотели поблизости от Клавы, бывшей доярки.

У доярок ведь житьё особенное. Подъём на работу ранний, в пять, а то и в четыре утра, и Клавдия уже на ногах, одета и умыта, стоит у барачной двери, молча поглядывает, как бабье стадо сначала оживает, шуршит, просыпается, начинает шевелиться, помыкивать.

Никто её и не выбирал, сама стала старшей по бараку, да и полицаи почему-то обращались к ней, но не всякие команды отдавали, нет. Всё, что касалось работы, места её и исполнения, — тут спорить никто не собирався, а вот остальное — это уже Клавдия толковала. И насчёт мытья, стирки, мыла, хоть самого захудалого, одежки, какого-нибудь тряпья, ночью укрыться — лето заканчивалось, приближалась осень, — об этом обо всём она спорила со старшим из полицаев, так выразительно всматриваясь в его лицо, что бригада Клавина, теперь по имени “отряд”, была отличима от остальных. С ней почему-то предпочитали не связываться. И ещё: работал её отряд молча и яростно. Вслед за ней, своей командиршей...

Бог ты мой, сколько они перелопатили земли! Всякий раз, останавливаясь отдохнуть хотя бы на минуту-другую — дальше следовал окрик погонялы-полицай, — Алёнушка глядела направо и налево от себя и не уставала удивляться. Ничтожные, маленькие муравьишки, люди копались в земле, и постепенно она превращалась в широкое, углублённое с одной стороны, пространство.

Немцы, проходившие мимо и, как правило, одетые в офицерскую полевую форму, часто повторяли эти слова — линия обороны. Так что отряд

доярки Клавы изо всех сил старался откопать для вражьего войска эту их линию обороны.

Но ведь обороны же! Не наступления!

Они копали бесконечный этот окоп два с лишним месяца. Только лопатами. И ладони у всех у них, не раз лопнувшими мозолями иссечённые, покрывались уже и не кожей, а какой-то коркой, почти шкурой, и пальцы на них с трудом разводились, и сами кисти сгибались с затруднением.

Про всё остальное и объяснить сложно. Исподнее превратилось из белья в обноски. Если поначалу мыло ещё давали, то потом оно исчезло вовсе, и умелая Клава по всему лагерю распространила свой бабий опыт: сметали из костров золу, заливали водой, и щёлочью, возникавшей таким способом, стирали потом бабы свои поддёвки. Тряпья вообще решительно не хватало, но хоть Клавдия и требовала его у полищавцев, те руками разводили: до жилья ехать далеко, транспорта нет, и у них самих-то ничего не было. “Жрём и то наравне с вами”, — злился старший. “Но вы-то мужики, — ожесточалась Клава. — Мы же бабы! Совесть поимейте”. Какая там совесть! “Не могу пока, уймись! При первом случае сделаю”.

То ли застали они на этом эскарпе ещё конец лета — начало осени, и поначалу было тепло, и их ещё хоть как-то, но кормили, и доставался с окрестных полей турнепс и кормовая свёкла в прибавок, то ли земля была сухой, а оттого сравнительно лёгкой, то ли силы физические ещё только начинал расходовать каждый живой организм, но первое испытание подневольным трудом Клавин отряд пережил сравнительно благополучно. Никто не умер, не заболел и, в общем, сильно не плакался, про себя-то, конечно, мучаясь, — что же дальше?

В октябре пошли затяжные дожди. Поначалу моросил мелкий бисер, на который не обращали внимания, а земля всё равно набухла, становилась тяжелее. Потом дожди усилились. Обутка, в которой прибыла основная масса женщин, была летней, сапоги взяли единицы, вроде Клавдии, и теперь она угрюмо смотрела не в лица своих отрядниц, а на их ноги. Дошло до того, что дюжина из пяти-то десятков работниц осталась вовсе босой. Среди них маменька.

7

Ах, маменька! Алёнушка всегда ощущала её присутствие перед собой. Маменька, как и папенька, была немногословной, но ласковой и безоглядно любящей, выражая эти свои чувства незаметным к дочке вниманием. Это вовсе не проявлялось в каком-то домашнем услужении — Алёнушка была с детства приучена убирать за собой, стирать и гладить, но и, понятное дело, не только за собой — за всем хозяйством. Она и маменькину одежду стирала, и выходные папенькины хромовые сапоги, пока он был жив, натирала до блеска, и корову доить умела с ранних лет, и поросётам корм задать сноровиста была.

И всё же маменька повсюду над ней была. Отовсюду за ней приглядывала. И не очень расспрашивая, чтобы не сократить дочерину свободу, желала знать и всё знала, даже если и не по Алёнушкиным словам, то по её вздохам или улыбкам, или даже по светлому дочкиному молчанию, которое любящему и бескорыстному материнскому сердцу сказать может и больше, и лучше слов.

Маменькина любовь была всегда опаслива — ведь Алёнушка росла такой светлой красавицей, — и Пелагея Матвеевна часто вздыхала — и ночью, и днём, — тревогу за это переживая. Сказать дочке, чтобы вела себя осторожнее, припрятывала как-то свою красу, берегла её единственному суженому, она считала невозможным — очень было бы это неделикатно. Не сказать — тоже неверно, и несправедливо даже — ведь девочки, да ещё красивые, должны бы знать, что их может ждать, если они окажутся неосмотрительны. И кто же это может сказать доверительнее и сердечнее, чем мама?

Но Пелагея Матвеевна, хотя и не из сильно грамотных, — а может быть, именно поэтому, — блюла деликатную осторожность, охраняя хруп-

кую свою девочку, и даже в мыслях боялась прикоснуться к тяжёлым темам. Есть такие любящие души.

Однако когда их сунули в кузов и привезли сюда, что-то в Пелагее Матвеевне оборвалось. Каким-то десятым чувством она сразу поняла, что всё кончилось. При этом она не о себе, конечно, думала, а об Алёнушке.

Самой ей не было ещё и сорока, и хотя так вышло по жизни её, что с лопатой она имела дело лишь при посадке и уборке картофеля, и уж никак не на земляных работах, таких вот, как здесь, труда такого да и мозолей она не страшилась.

Да, по деревеньке своей, к могилке мужа, который так недолго с ней побыл, к соседке Клавдии ходила она не спеша, солидно, как мать — хоть и не велика семейства, но красивой дочери. Но солидность эта была принятая, если можно так выразиться, благовоспитанная: до каких-то лет женская порода — просто девчонки, и им можно всё, до каких-то — невесты на выданье, и тут уже есть свои тайные ограничения, до каких-то — молодые жёны, и здесь приходит другое — авторитет хозяйки, чувства любящей женщины, следом же — материнство. Ну, а мать, пусть и молодая, по деревенским понятиям уже должна блюсти неписаный, но важный ход во всём: в разговоре, в отношениях с людьми, в походке.

И хотя ступала Пелагея Матвеевна от самого рождения Алёнушки солидно, как и полагалось, была она ещё сравнительно молодой. Сказать точнее — женщина в расцвете лет. И сил физических — тоже.

В иные времена такие женщины, потеряв мужа к тому же, без оглядки и замуж станут выскакивать, и детей рожать, да и не по разу, забыв, начисто из памяти стерев и свои первые радости, и любовь, и всякие иные воспоминания. Которые, в общем-то, по-божески-то, выдаются один-единственный раз и на всю оставшуюся жизнь. Как бы она ни сложилась.

Вот такой — женой, матерью, а теперь вдовой — была мать Алёнушки Пелагея Матвеевна.

Попавши вместе с дочкой на строительство бесконечного окопа, она, конечно, страдала от ужаса — и днём, и, особенно, ночью, не в силах уснуть на этих широких, деревянных, сбитых для всех полатах, не столько мучаясь от укусов вшей, сколько от горьких дум: что будет с Алёнушкой? И как же она, мать её, повинна, что не сумела ничего сделать, чтобы спасти эту, единственную у неё и покойного Сергея, ценность? Почему не отступила с войсками? Но где они были, эти войска, если она ни одного нашего солдата так и не увидела до сих пор? Ну, почему не убежала к партизанам? Но и партизан-то ведь ни один к ним в деревушку не зашёл. Да и ни одного выстрела в лесу они не услышали.

Хорошо, надо было бы в лес уйти! Ведь уходили же куда-то деревенские мальчишки. Да и Алёна рассказывала, будто учительница Ольга Петровна им в школе твердила — мальчишки пусть убираются. Подальше! Прячутся! Или ещё как!

Ну, а девчонки-то? Вот Алёнушка её, красавица писаная. Что с ней? Куда спрятать её надо было? В какой такой лесной, заколдованный схорон? Не знала этого Пелагея Матвеевна, по ночам все глаза выплакала. А ночи эти, отрядные, разве ночи? Выплакаться — и то нельзя. Алёнушка утром спросит:

— Что ты, маменька? Почему глаза красные?

А она не должна быть слабой. Её обязанность — Алёнушку здесь уберечь, если там, в деревне своей, на воле-то вольной сделать не поспела. Утром, чтоб всякие дочкины вопросы предупредить, улыбалась ей, бодрые слова говорила, и на работе, в траншее этой, всегда рядом с дочкой держалась. Та лопату земли подцепит, мать — две. Потом поняла: не то. Стала с дочкиной лопаты груз сбрасывать. Лопату её цеплять. Говорить:

— Тебе нельзя, доченька! Ты себя побереги! — И улыбалась ей изо всех сил. — Это тебе пригодится. Для продолжения!

— Для какого продолжения, маменька? — наивно спрашивала Алёнушка.

— Да для твоего продолжения, — говорила вкрадчиво мать. Негромко говорила, чтобы лишние не слышали. И перехватив недоуменный взгляд дочки, будто утверждала солидно: — Для нашего продолжения...

В дождливый день, когда ботинки Пелагеи Матвеевны рассыпались на несоединяемые части и когда к ней, мокрой и растерзанной, подошла Клавдия, а Алёнушка куда-то отодвинулась, она вскинула свои огромные, испуганные глаза на бригадиру, соседку в прошлом, и дрогнувшим голосом сказала ей:

— Клава! Сохрани Алёнушку! Как можешь, так и сохрани!

Клавдия взглядела в лицо Алёнушкиной матери, женщины давно и хорошо ей известной, увидела потерянные, широко открытые глаза, в которые сползали капли дождя, и по привычке, укрепленной здесь, в этом странном месте на краю лесной опушки, где строился громадный окоп не для людей, а для пушек, одёрнула Пелагею:

— Сама сохранишь! На то ты мать!

А отворачиваясь, делая шаг в сторону, сама моргнула, смешивая с дождем выкатившиеся слёзы.

Горькое поручение услышала она из уст чужой матери.

8

Их подняли ночью, да они уже и так не спали из-за шума моторов, который нёсся от их громадной канавы.

Промокли все и сразу, едва вышли на улицу, и отряд погнался на этот шум. В полутьме они разглядывали, как множество крытых грузовиков, часто зарываясь в землю, разворачиваются за канавой, сминая невысокие ёлочки, из крытых кузовов выскакивают солдаты, отцепляют от машин орудия и скатывали их в эскарп. Стволы как бы выглядывают из-за укрытия и нацелены вперёд, на невидимого противника.

Грузовики отъезжали, ненадолго останавливались, и в них загоняли рабочих. Среди этих загонял металась и полиция, но в большинстве тут командовали немцы. И они злобно шипели:

— Шнель — шнель...

Маменьку и Алёнушку чуть было не разделили, а Клавдия и другие деревенские пропали. Хорошо, что не так уж и надолго, хотя попереживались они вдоволь. Грузовики отъезжали один за другим, выстраиваясь позже в колонну, догоняя в пути друг друга.

С Клаввой они встретились на тёмном полустанке. Там стояли товарные вагоны, и перед ними разгружались грузовики, тотчас отъезжая. Женщинам приказывали залезать в вагоны, и Клава шепнула, что сейчас самое время бежать. Такой выход пришёл в голову не одной, видать, ей, потому что вдруг раздалась одна, вторая автоматная очередь, и кто-то страшно закричал на путях за вагонами. Потом стих.

Они влезли в вагон. Маменьку трясло, и Алёнушка тряслась тоже, они обнялись, чтобы хоть малость утешиться, но не помогало. Маменька была как раскалённая печка, и девочка сказала об этом Клаве. В руках у той был какой-то свёрток, она развернула его, и это оказалась рваная плащ-палатка, а может, просто кусок брезента — откуда только и достала. Маменьку укутали, а босые ноги её Алёнушка гладила, согревала своими ладошками, дула на них, сама трясясь от сырости и холода.

Когда рассвело, поезд остановился, скоро дверь распахнулась и два полиция с криком подняли молочную флягу, от которой шёл съестной дух. Потом кинули с десяток дюралевых мисок и столько же кружек. Какие-то женщины перекинули две наволочки, набитые тряпьем.

— Обуви нет? — крикнула Клавдия. — Дайте обуви!

Ей ничего не ответили, дверь захлопнулась, женщины придвинулись к фляге. В ней бултыхалось что-то вроде супчика — точнее, бурда, конечно. Стали разливать по тарелкам, черпая кружками эту всё-таки пахнущую едой жидкость. Ни ложек, ни хлеба — наливай и пей через край дюралевой посуды.

Маменьке вроде полегчало, и Алёнушка напоила её супом. Стояли они долго. В окна, точнее-то продолговатые щели, наверное, предназначенные для вентиляции, под самым вагонным потолком, виднелись зелёные кроны

сосен. Поезд стоял в лесу. И двигаться дальше не торопился. Может, и отстаивался в этом затишье.

Ещё засветло дверь открылась снова, и с улицы, опять женщины, подали мешок с обувью. Скорее, с остатками того, что обувью было. Клава и здесь приняла командование. Велела всем утомониться, обошла всех и каждого. Первым выдала обутки тем, кто совсем босой. Маменька оказалась среди таких, и Клава сунула ей какие-то невиданные теплые зимние ботинки со множеством петелек для шнурков. Шнурки вот только были на одном ботинке. Ни носков, конечно, ни чулок, но Алёнушка бережно натянула обувь на маменькины ноги. Изнутри было утепление, какой-то, может быть, войлок.

Маменька кивала ей, улыбалась, и Алёна заулыбалась. Ещё ничего не кончилось — наоборот, только всё начиналось, и платья их не просохли, и сверху, из окна, несло холодом, но ботинки всё-таки маменьку согревали, в животе кое-что булькало, — и то, выходило, слава Богу!

В углу кто-то заплакал, даже закричал:

— Не буду! Не надо!

Клава вернулась оттуда растерянной, в руках у нее была изношенная, среднего размера, светлая туфля, в пятнах, и она сказала Пелагее с Алёнушкой:

— Вот ведь! Высохшая кровь!

Они минуту помолчали. Маменька смотрела на свои ботинки, тёплые, зимние, один без шнурка, и губы её шевелились. А потом она стала нагибаться, чтобы ботинки эти снять. Но Алёнушка и Клава перехватили её, ничего даже не сказали, ни словечка, просто укрыли её брезентом, и дочка рядом с мамой легла, обняла её. Маменька убрала ноги в ботинках под брезент. Всем было ясно — обувь с убитых.

9

Поезд шёл и останавливался, и снова шёл, и они уже стали привыкать к этому, как вдруг что-то загудело над головой, потом стало взрывать — справа и слева, слева и справа. Видать, лётчики не могли прицелиться. А поезд, удирая, набирал скорость.

В какой-то миг вагон, в котором они были, будто пригвоздило на секунду. Всех, даже лежащих, поволокло вперёд. В конце состава раздался грохот, колёса не закричали, а взвыли железными голосами. Потом их отпустило, затем снова завывли, и поезд встал.

Сначала оглушила тишина, потом послышались немецкие команды, затем смертельный женский вопль.

— Отцепляй! — услышала Алёнушка немецкую команду, а Клавдия сказала ей:

— Давай-ка, мы тебя посадим, ведь лёгонькая! А ты погляди!

То, что она увидела, полувыглянув в продолговатое, узкое оконце под потолком, нельзя было видеть человеку. Любому, даже очень взрослому и много видевшему. А уж девочке...

Вагон, который находился от них совсем недалеко — ещё через один, — разворотило в щепки вместе с людьми. И на молодых ёлочках, росших вдоль пути, висели розовые гирлянды из человеческих внутренностей, на земле же валялись куски окровавленных тел да тряпки, бывшие платьями и бельём.

Алёнушка не сразу и поняла, что это такое перед ней, но окрестность, поначалу чутьчку затуманенная дымом, осветлялась, являя жестокую правду, и она сообразила, что за картину увидела, тоненько вскрикнула, даже коротко пискнула, как подбитый воробей. И как воробушек же скатилась вниз с Клавиных плеч. Едва её подхватили.

Когда Алёнушка пришла в себя, поезд шёл дальше, как показалось, торопливей, скорей, будто убегая от чего-то непоправимого. Она вспомнила увиденное, её заколотило, потом запоздало вытошнило. Чуть позже, когда проснулась после сна, короткого, но глубокого, как яма, в которой ничего не было, кроме черноты, увидела первым делом Клавины глаза — испытывающий, жёсткий, даже жестокий взгляд.

— Забудь! — велела Клавдия.

Алёнушка кивнула и заплакала — слёзы были уже утехой, смягчающей, отодвигающей увиденное. Она чувствовала себя изнурённой, истерзанной, и голова клонилась от какой-то бессильности, будто одолела непомерной длины путь. Клава сказала растерянно:

— Вот ведь!.. — и во всё обвинила себя. — А я-то, я!

Поезд шёл и шёл, и казалось, они никогда никуда не приедут. Потом остановился, двери широко распахнулись и уверенный русский голос крикнул:

— Вылезай!

И вот они вышли. Выбались. Вылезли, наконец.

Полураздетые, почти разутые женщины. Немногие старики в некоторых вагонах за дорогу обросли бородами и стали ещё старше — дикие существа, худые, с воспалёнными глазами и скрюченными руками. Уже не люди. Женщины были тоже страшны: не мыты, худы и всклокочены, но всё-таки женщин хоть отдалённо, но ещё напоминали.

Мужчин оказалось совсем мало, и их сразу увели, женщин же строили и перестраивали, вписывали их фамилии в книги, разбивали по новым отрядам, и Клава снова стала старшей в группе, куда она же каким-то образом затащила и Алёнушку с маменькой.

Место, куда привезли, сильно отличалось от места рытья эскарпа. Это был настоящий лагерь, обнесённый колючей проволокой, с охранными будками по углам, с крытыми бараками, оборудованными полатами. Давали тут и одежду, но от неё брала оторопь. Полосатые пижамы с номерами на груди.

Эти номера и записывали в книге вместе с фамилиями и именами, адресами, откуда прибыли. И лагерь имел номер, как воинская часть.

— Это мы в Германии, что ли? — спрашивала Клава.

Кто-то проговорил:

— Уже не Россия, ещё не Германия... Но часть СССР!

— Какая же она часть? — не сдавалась Клава.

И правда — ничего тут не напоминало их сторону. Хотя от лагеря до селения, которое виднелось вдаль, было не близко, даже отсюда дома с крутыми черепичными, а оттого нарядными крышами ни на что русское не походили.

Работа оказалась всё той же: копать землю. Копать было уже сподручнее. Были кайла — земля здесь каменистая, были тачки, которые таскали немногие старики да женщины посильнее. Были бригадиры-строители, они не отрядами руководили, — у женщин женщины же назначались, — а бетонными работами. Землю-то не просто так рыли, а в ямы ставили крепкие стены из бетона, бетон готовили неподалёку. Получались железобетонные гнёзда, врытые в землю, с полукруглыми низенькими, под землю, крышами, и с продолговатыми узкими бойницами. Доты — долговременные огневые точки. Туда потом должны были втащить пулемёты и стрелять по врагу. То есть по нашим.

Рыли землю и для артиллерии. И тоже бетонировали артиллерийские позиции, потому что пушки должны были стоять тут особенные, дальнобойные.

Все эти знания пришли к Алёнушке и ко всем остальным не сразу, очень постепенно, но пришли, оставляя, однако, равнодушными и её, и, наверное, всех, кто там был, в этом концлагере. Вообще-то в лагере для заключённых, хотя и не осуждённых и не пленных — никто этих женщин не судил и в плен не брал. А *конц-* означало *концентрационный*. Сконцентрировано, означало это, собрано, то есть здесь людей много, очень много, этакий концентрат рабочей силы. Или заключённых — разбирай, как можешь.

Выдали обувь: деревяшки с тряпичными креплениями. Их сразу прозвали “стуколками”, потому что подошва была негибкая и издавала стук при каждом шаге. Чуть позже, когда выпал снег, дали ещё и куртки, тоже полосатые, и обувь постепенно сменили на какие-то разношенные, больших размеров ботинки. Кто-то пустил слух, что их сняли с расстрелянных красноармейцев.

Утром — подъём до рассвета, весь световой день — на работе, когда стемнеет — в бараки. Мылись с трудом, холодной водой из шланга. Спали

каким-то обморочным сном. Ели что-то два раза в день, утром и вечером. Кормёжка на той артиллерийской траншее казалась отсюда объедаловкой.

Наверное, в этом и состоял чей-то извращённый замысел: взять человеческий труд, дав за него лишь столько, сколько нужно для воспроизведения энергии, нужной на этот труд. И даже немножко меньше. Ведь все, кто исполнял такую работу, после её завершения больше не требовался. Людей не собирались использовать дальше. А всё же работу требовалось исполнить в срок. Даже быстрее!

Этот срок уже погромыхивал где-то на востоке: необъяснимый весенний гром среди зимы.

10

Маменька противилась болезни изо всех сил.

Порой она совсем хорошо выглядела, улыбалась. Смеяться — этого не получалось, впрочем, и никто вокруг не смеялся, а уж маменька и подавно. Не помнила дочка её хохота ни в прошлой мирной их жизни, ни теперь, — только иногда растянет губы, да и то стеснительно как-то, себя будто бы окорачивая, сдерживая, даже улыбки-то стесняясь.

Если и улыбнётся — для Алёнушки, но тут же и угаснет, тоже из-за дочки. Она и жила-то из последних сил только для неё, запоздало поймёт потом Алёнушка.

Всегда будто бы перед кем-то отвечала за дочку свою — маленькую ростом, хрупкую, с нездешней, не земной, а сверху откуда-то посланной красотой, на которую вот теперь покушается война. А кто, как не мать, вступит за дитя своё?

Алёнушка видела, как маменька старается даже в строй встать так, чтобы заслонить собой маленькую дочку свою, если землю роет, так тоже таким образом, чтобы чужой взгляд собой перехватывать. На всех опасных линиях оказывалась она, избавляя Алёнушку от лишней опасности, даже взгляда, потому что и взгляд охранников был опасен, как выстрел. Почти как выстрел.

Но что-то горело в маменьке, какой-то болезненный огонь то притухал слегка, то вновь разгорался, и она тогда полыхала, пошатывалась, скрывая при этом даже от дочки своё состояние. Алёнушка всё видела, чувствовала, спрашивала Клавдию:

— Что делать?

— Если сказать по команде, — отвечала та, — заберут в лазарет. А от туда не возвращаются.

И они от маменьки не отходили на земляных работах, до тачки её не допускали, ясное дело, да и лопатой орудовать у неё всё хуже, всё слабей выходило.

— Если бы еда получше! — горюнилась Клава.

Еда была мечтой, сном, сказкой! Кормили их как в эшелоне — два раза в день бурда неясного происхождения и по крохотному кусочку хлеба. А что за хлеб был! Мокрый какой-то, рассыпающийся от резки, будто слепленный из чёрной глины.

Все они, до одного, страдали от голода, все были почти скелеты. Особенно жестоко выглядел их огромный женский барак по утрам, когда сотня женских полутеней становилась к длинной, над железным наклонным жёлобом, трубе, а из трубы, из дырок, в ней проделанных, текла вода, запираемая с конца трубы одним краном.

Полуодетые женщины умывались, даже подмывались тут же, не отворачиваясь и никого не стыдясь: голод и стыд — несовместимые понятия, и вид у них был непотребный, нечеловеческий, неловкий. Это была толпа полуженщин, которые ещё плещут водой, что-то говорят, даже толкают друг друга порой, чего-то меж собой не поделив.

И хотя церемония эта на всю-то сотню занимала не больше десяти-пятнадцати минут, Алёнушка всегда взгляд свой от этой сцены отворачивала. Старалась чуточку попозже присоединиться к ним, потому что пораньше-

то — кран был перекрыт. Его открывал старший. Вернее, старшая, хоть тут — не Клава.

Отвела эта Клава в сторону свой стреляющий взор, когда офицер обходил строй, выманивая кандидатуру для надзора над всеми своего же, из заключённых, старшину. Умерила свой характер боевой, который мог бы быть принят за готовность управлять баракком, уклонилась от позорной должности *капо*...

Выпал снег. Работать стало ещё труднее. К тому же их стали гонять на работы далеко от лагеря. Поначалу возили в грузовиках, и ехали они в них стоя, держась друг за дружку, а крайние цеплялись за брезент. Делалось это, чтобы набить побольше народу в каждую машину, и это были тяжкие поездки. Да ещё по рытвинам и ухабам.

Потом стали гонять пешком. Почти час в одну сторону. Целый день — копать землю, бить кайлом, вгрызаться в известняк. Потом час назад. Пешком. Под охраной.

Слава Богу, что в том бараке, где жила Алёнушка, не было зеркала. Хоть бы какого, самого малого. А то бы, посмотрев в него, она увидела не маленькую красавицу, а малого роста старуху, с чёрными разводьями под глазами, с втянутыми щеками — высохшую мумию. Даже носик, и так-то невеликий, сжался в пуговку или кнопку, а волосы от долгого, уже целые месяцы, мытья без мыла из золотистых превратились в серые, под стать серым полосам лагерной куртки, кем-то задуманных как чисто белые.

Женщины не видели себя, но не отворачивались ведь от других, и Алёнушка ощущала маменьку в самом правдивом той состоянии. И так-то скованная в движениях, сдержанная в речи, маменька теперь, болея, всё больше вроде бы замедлялась. Отставала от других, не успевала за едой, позже других поднималась с постели, трудно умывалась, медленно шла в колонне. Она теперь совсем мало говорила, только одышливо задыхалась, брела, сгибаясь, опустив плечи. Алёнушка с Клавдией всегда теперь шли сбоку от неё, справа и слева. Потом стали поддерживать её. А потом и просто вести под руки.

Дело поворачивалось совсем худо. Алёнушка и Клава отдавали ей свою еду, главным образом хлеб, но маменька отодвигала его или отщипывала несколько крох и сосала их, будто конфеты, улыбаясь в ответ опекунам своим.

— Ну, маменька! — просила её со слезами на глазах Алёнушка.

— Ну, Пелагеюшка! — уговаривала Клавдия.

Но маменька улыбалась почти блаженно, совсем серые волосы её торчали патлами, выцветшие серые глаза, лицо, старое не по возрасту, покрытое тысячами мелких морщин, обтянутые скулы... Дело шло к концу. Но когда люди ждут худшего, они всегда надеются на что-то. Хотя и надеяться уже не на что.

Но потому, видно, человек и есть человек, что он способен видеть горизонт, как известно, всегда отступающий перед ним. Всё нам кажется, что впереди что-то есть, может быть, неожиданно спасительное. Этот горизонт, отступающий по мере нашего к нему приближения, этот великий, может быть, даже божественный обман, своего рода утешение, всегда подаёт надежду. Это своего рода душевная отсрочка. Ведь нам страшно точно-то предсказать беду, подступившую к тебе или твоим близким! И, наверное, лучше уж не знать точного наступления этого мгновения!

В тот раз они шли пешком, колонна растянулась, на плечах несли лопаты и кирки, всё шло по обычаю, по жёсткому расписанию концлагеря, и люди почти привыкли к своей доле.

Колонна двигалась нескоро — отрядами по сто человек, квадрат за квадратом, женщины в полосатых куртках с номерами, под которыми такие же и с теми же номерами полосатые платья, мужчины, всё же отличимые от женщин, как правило, двигались своими отрядами чуть впереди и чуть быстрее.

Справа и слева, впрочем, совсем немногим числом — по одному, по два, часто — рядом, разговаривая между собой, чтобы было веселей, шли охранники, немцы, совершенно уверенные, что эти людские квадраты сами при-

дут, — а не придут, так приползут — к месту работ, потому что именно там их будет ждать дважды в день раздача их паршивой, но всё-таки жратвы.

Квадрат двигался за квадратом, Алёнушка и Клавдия держали маменьку под руку, и Клава неудобно несла на другом плече сразу две лопаты — свою и Пелагеину, мелкий, крушитчатый снежок царапал лица, но земля подстыла и идти было легче, конечно, чем после рыхлого снегопада.

Маменька вдруг тоненько ойкнула и стала валиться вперёд. Лопаты пришлось бросить, остановиться, положить маменьку на землю. Алёнушка подняла её голову на свои колени, звала её.

Сначала громко, удивлённо, потом испуганно, затем, всё поняв, тихо, и плакала, плакала, целуя остывающее лицо.

Колонна, в которой двигались они, ни на минуту не остановилась. Просто женщины, следовавшие за ними, их обходили, изредка восклицали, выкрикивали или выпёщывали междометия: “Ох!” или “Ах!” На большее сил не хватало.

Следующий отряд просто тихо обтёк их — три фигурки; лежащая Пелагея Матвеевна, с руками, которые сложила ей на груди всё умеющая Клава, плачущая Алёнушка на коленях, и надо всем этим Клавдия, крепкая фигура которой выглядела как столб какой, предупреждающий человеческое шествие о необходимости обойти, раздвинуться, хоть взгляд кинуть на горе, которое лежит посреди дороги.

Колонны обошли маменьку с Алёнушкой и Клавдией. Двое солдат, шедших за последним квадратом, остановились перед ними.

— Разрешите похоронить, — сказала Алёнушка по-немецки, поразив охранников.

— О! Ты говоришь по-немецки? — удивился солдат. — Тогда почему ты здесь? Могла бы поискать местечко получше.

— Это моя мать, — сказала Алёнушка, и тот, что был, видать, поопытней, ответил:

— У нас инструкция. Просто отодвиньте с дороги.

— Пожалуйста! — всхлинула Алёнушка.

Тогда солдат подошёл к остывающей маме, достал из кармана перочинный ножик, не спеша раскрыл его и срезал нашитый на куртку номер.

Он сунул этот клочок ткани в карман, и не сказал уже, а приказал:

— Убирайте с дороги!

И Алёнушка вместе с Клавой, ухватив Пелагею Матвеевну за плечи и ноги, приподняли её лёгонькое иссохшее тело и положили его на обочину.

Алёнушка плакала, Клава перекрестилась, и они пошли догонять колонну.

Первый немец так и не проронил ни слова. А второй всё повторял:

— Шнель, шнель! Надо догнать остальных!

II

Весь этот день маменькиной смерти Алёнушка терзала себя неутихающим укором, без конца спрашивая: почему не отдали в лагерный лазарет? И хотя все говорили, что из лазарета не выходят, а выносят, и не видели они с Клавой ещё ни одной женщины, вернувшейся в барак оттуда, никак не могла она простить себя, что не попробовали! Корила себя: да если уж и умереть, то хоть на какой-нибудь всё-таки койке, а не вот этак! Прямо на зимней дороге!

Она плакала, её трясло, и ей даже пришла мысль, что маменькина болезнь теперь перешла на неё. И поделом! Лучше бы они и умерли разом на той дороге, ведь их жизнь и не жизнь вовсе, а ничтожное существование. Какой смысл держаться за неё!

Не скрывая слёз, она в лихорадке говорила всё это Клаве, и та молча лицо её отирала, мелчком, чтоб не привлечь внимания охранников, прижимала к себе, а потом яростно всаживала лопату в заледенелую землю, тепер уже собой, своим телом закрывая девочку от чужих взглядов.

Ночь после маминой смерти Алёнушка провела в жару, металась, а Кла-

ва укрывала её жалкими тряпицами и вспоминала просьбу покойной матери приглядеть за дочкой её. Вот и вступал в силу неисполнимый долг Клавдии.

Следующим утром колонна двигалась по вчерашней дороге.

Всю ночь валил снег, сухой, мелкий, нерусский какой-то, и дорогу перемело, не говоря уж про само поле: выровненное ветром, внешне скользкое, оно походило на огромную, без краёв, льдину.

Когда миновали место, где вчера положили маму, Алёнушка, смаргивая слёзы, глядела во все глаза, но так и не увидела даже холмика. Всё поглотил оледенелый снег.

Клава взяла её за руку. Утешила, как могла.

— Скажи, девочка, слава Богу! Спрятана маменька твоя на земле, а не в печи спалена.

Они шли и плакали, а женщины, шагавшие рядом, не плакали — то ли не было сил, то ли берегли они свою последнюю энергию, чтобы не рухнуть вот так, посреди дороги, как рухнула вчера одна из них.

Не успели они приступить к работе в тот день, как за Алёнушкой пришёл немец. Тот самый, высокий. Сказал ей спокойно и вежливо:

— Следуйте за мной.

Клава заметалась было, но Алёнушка безразлично выполнила приказ. Передала ей свою лопату, чтоб не пропала, и двинулась за охранником.

Клавдия охнула, глядя на то шествие: длинный верзилка с автоматом, а за ним, ровно вполовину меньше, крохотная фигурка не то девочки, не то старухи. Она будто охом своим какую-то команду подала, эта надёжная Клава: все на секундочку, да останавливались, переставали рыть землю, глядели на немца и Алёнушку, которые шли не быстро и не медленно, но на виду у всех.

В фанерном строении немец сказал ей, что надо подписать бумагу о смерти маменьки, и она, не очень вдаваясь, что-то подписала. Потом он зачем-то сказал, что это необязательно, ведь у каждого на груди свой номер, а в книге записей есть все нужные сведения. Но если необязательно, мучительно ещё подумала она, тогда зачем сюда завёл?

Немец внимательно на неё поглядывал. Алёнушка не обращала внимания: вся душа её ещё рыдала, всё тело тряслось от мысли, что маменьки нет. И никого теперь перед ней нет.

— Кто ты? — спросил немец неожиданно.

Алёнушка пожала плечами. А кто она, правда? Заключённая, что ли? Но кто её судил, за что? Просто схватили и привезли. И погубили маменьку. Примерно так она и ответила этому солдату, с трудом складывая немецкие слова в предложения. Хорошо, что их требовалось немного для такого объяснения.

Они сидели вдвоём в теплушке, где, наверное, грелись охранники, здесь было тепло, в углу трещала чугунная печка, а на ней пыхтел чайник. Немец, ничего не спрашивая, поднялся, налил в железную кружку горячей воды, потом полез в брючный карман и вытащил оттуда нетолстый пакет из газетной бумаги. Газета была немецкая. Он развернул её, и там оказались два бутерброда. Один — с колбасой, другой — с сыром. Он подвинул их Алёнушке, поставил перед ней кружку с кипятком. Молча на неё посмотрел. Вопросительно посмотрел.

Она испуганно отодвинулась. Немножко подумала. А потом взяла кружку и стала пить горячую воду, запивая ею забытое яство.

“Ну и что! — шептала она самой себе. — Ну и что!”

Из будки она вышла, чуть покачиваясь, почти опьянев от невиданной еды и внеурочной кружки кипятка. На пороге солдат сказал ей:

— Меня зовут Вилли. Запомни это.

Она хмыкнула: этого ещё не хватало! Когда шла обратно, опять на неё посматривали землекопы. Точнее — землекопки. И это было непривычно: в самом деле, идёт какая-то малышка в полосатой робе, а за ней следует длиннющий солдат — персональный конвоир.

Про бутерброды Алёнушка Клаве не сказала, и было ей на душе от этого неуютно. Не то, что соврала, а умолчала. И ведь не принесёшь же старшей своей подружке полбутерброда: или ешь, или откажись...

И всё же перед сном они пошептались с Клавдией. Алёнушка спросила, видела ли она раньше этого долговязого Вилли? Сама Алёнушка не видела. Точнее, не различала вообще никого из охранников. Они были вроде колючей проволоки, может быть. Чем-то неодушевлённым. А вглядываться в проволоку, пусть даже она всякого размера и разного качества, у неё не получалось.

Клава тоже не помнила этого длинного. Призналась, что тоже никого из немцев не выделяла. Немец и немец. Охранник и охранник. Враг и враг.

Дня два или три ничего не происходило. Но это — как посмотреть! Сначала Вилли подходил к площадке, где работала Алёнушка, и вроде замещал собой других охранников. Стоял и смотрел. Прохаживался. Уходил и возвращался.

Потом, когда строились в колонну, чтобы двигаться на работу, однажды утром имя Алёнушки выкрикнул дежурный офицер. Она осталась у дверей барака и мёрзла с полчаса, пока не явился Вилли, и долго не разговаривая, приказал:

— Идём.

Он не выставил вперёд свой автомат и просто шёл позади неё. Он привёл её к лазарету для заключённых. Завёл её туда и велел посидеть в пустой маленькой комнатухе. Пошёл к врачу. Там они о чём-то громко поговорили.

Появилась медсестра, похоже, не русская и не немка, жестом показала, чтобы Алёнушка следовала за ней. Странно, но привела в душ. По-русски, но на ломаном языке, стала говорить, чтобы девушка разделась и как следует помылась.

— Как слетуетт! — повторила. — Пон-няла! Всюту!

Алёнушка послушно разделась и вымылась, чувствуя, что освобождается от тяжести, приходит в себя. Ещё бы — горячая вода! Мыло! Правда, чёрное, будто из дёгтя сделанное. Она мылилась и тихо попискивала. И плакала, плакала...

Вытерлась не полотенцем, а тряпичей, но больше всего поразилась в раздевалке. Вместо старой полосатой робы и ношеного полосатого платья там висели такие же полосатые, но новые и платье, и роба, а номера на груди — её. И почти новые полусапожки. И носки. И бельё.

Не веря себе, с ещё мокрыми волосами она вышла в коридор. Всё та же не совсем русская, но и не немка привела её к врачу. Довольно полный человек в белом халате поздоровался с ней по-немецки, и она ответила ему тем же.

— Гутен таг!

— О-о! — удивился он. — Говорите по-немецки?

— Очень немного, — ответила она и решила пояснить, — учила в школе.

— О-о! — снова удивился он. И чему-то улыбнулся. — Это меняет дело! И разъясняет обстановку! Пожалуйста!

И указал на кресло. Оно было слегка похоже на то, что Алёна видела всего-то раз за свою жизнь в зубном кабинете, но и, конечно же, не такое, совершенно не такое и вовсе не понятное. Она растерялась. А доктор кивнул:

— Ну, да! Снимите трусики!

Она затряслась, приготовилась плакать, но он усмехнулся и сказал:

— Вы — женщина! Это обычный осмотр!

Трясаясь, взгромоздилась в холодное железное кресло, доктор натянул перчатку, что-то слегка пошевелил там, о чём и самой-то стыдно подумать. Но всё было быстро и аккуратно, при этом толстяк воскликнул:

— Гут, гут! А вы девушка!

Она ещё тряслась, ничего не понимая, что же тут ещё-то скажешь: конечно, девушка. Но немецкий врач врачом и был, не спросил, а неожиданно всё расставил по местам:

— У вас ещё не было мужчин!

Потом взял продолговатое стёклышко, каким-то взмахом совершил непонятную манипуляцию. Всё остальное было легче. У неё взяли кровь из пальца, но особенно долго её мучила та помощница врача. Вывела Алёну в приёмную и принялась искать у неё в голове. Потом объяснила:

— Вшей нет. А книды ест-ть!

Неожиданно дала мелкий гребешок и маленький флакончик, от которого пахло керосином. Алёна понюхала, и та подтвердила:

— Та, та! Этта керасин! Смассьвайте голофу! Вечером, перет сном!

Этот нежданный медосмотр, а особенно горячий душ Алёнушку ошеломили. Она возвращалась в сопровождении длинного Вилли совсем размагниченная, расслабленная, потерявшая всякую осторожность.

Неожиданно он велел ей остановиться. Команду выполнила механически, по привычке. Вилли обогнул её, встал перед ней. Заглянул в глаза. И вдруг спросил то, о чём не спрашивают.

— У тебя и правда не было мужчин?

Вся Алёнина расслабленность исчезла, она вспыхнула про себя, возмущаясь: “Да какое дело этому фрицу до её жизни?” Она промолчала, ничего не ответила, просто покраснела: вот ведь, даже в концлагере девушки должны краснеть от диких вопросов.

— Ты меня не поняла, — стараясь говорить мягко, произнёс Вилли. И брякнул совсем непотребное: — Я хочу, чтобы ты была моей.

Алёнушка даже закачалась от такого удара. Ну, да, она — в полосатой робе, а он — с автоматом, она — русская, а он — немец, идёт война и сила у него, этого Вилли... Но чтобы так! Прямо в лоб! “Моей”! Почему? С какой стати? За что? Но она только удивилась:

— Твоей?

И столько в этом вопросе было омерзения, столько ненависти и бессилия сразу, что этот Вилли залопотал:

— Нет, нет, ты меня не так поняла!

Так или не так — Алёнушка обогнула верзилу и кинулась к пустому барраку — ведь отряд был на работе. Дверь была отворена, она пробежала к своему лежаку, кинулась на него и завывала, как маленькая, беззащитная собачонка.

12

Наревевшись в досталь за этот чистый и мерзкий день, ночью она вышестала его Клаве. Та даже вскинулась от злости. Повторила, стиснув зубы:

— “Не так поняла”? А как это нужно понимать?

Вертелась, не могла сомкнуть глаз, но никакого совета Алёнушке подать не сумела. Вдруг утихла и засопела.

Утром Алёна вместе со всеми, только в новой робе, которую все разглядывали, шла на работу, весь день вкалывала и опять под наблюдением Вилли, который, однако, не приближался. Только когда вернулись к барраку, он подошёл к Алёнушке и, особо не скрываясь, сунул ей пакетик из газеты, опять бутерброды.

Женщины, измученные работой и дорогой, молча и бесстрастно глядели на эту сцену, но такое бесстрашие и тишина многое значили.

Алёнушка подержала завернутое в бумагу и бросила Вилли в лицо. Он едва поймал своё угощение. Женщины шелохнулись, но никто не рассмеялся. Вилли сунул в карман свёрток и молча ушёл.

Клава стояла возле Алёны, обняв её за плечи, обе смотрели вслед охраннику, а кто-то громко сказал:

— Ну, и дура!

— Да ты что-о, а?! — крикнула, оборачиваясь Клава. — Подстилкой немецкой стать! За бутерброд этот! Лешачий?

Но та, что обозвала Алёнушку душой, исчезла, растворилась в полосатой толпе, и выходило, будто толпа угрюмых женщин сама выкликнула это слово да умолкла, сама же себя и устыдившись. Получалось, будто выкрик этот был глубоко спрятанной тоской, возможным выходом, который не каждой даётся. Голосом отчаяния.

Клава Богу, Клава на неё прикрикнула, на эту тоску в полосатой толпе. И это её “что-о, а?!” освободило от нечаянной смуты срамную зависть. Все задвигались, зашевелились, дверь захлопала, толпа втянулась с холода в барак.

Перед тем как уснуть, опрокинуться в чёрный омут, выплывать из которого всякий раз приходилось без надежды и без веры хоть в какую-то малость хорошего, Алёнушка шепнула Клаве:

— Ну, и что теперь будет?

Та молчала, повернувшись к Алёнушке, вглядываясь в лицо её — иссохшее, совсем не детское, с выцветшими ободками глазных радужек, с посеревшими губами, со скулами, как у матери Пелагеи, обтянутыми иссохшей кожей.

— Сколько тебе годиков-то, девочка? — спросила она, проверяя себя, и ойкнула про себя: пока пятнадцать.

И что же ей уготовила эта лагерная жизнь? Что вообще с ней будет? Про себя-то Клава знала всё наперёд. Как и про всех, кто в этом бараке. Не сейчас, так через месяц, через два — конец прост и понятен. И ей не вернуться в свой двор, к ребятишкам, это ясно как дважды два. Потому она и не рвала, старалась не рвать в последние лохмотья остатки сердца, вспоминая про дом, ставший неправдоподобно далёким, будто всё, что было, хорошее и плохое, — это всего лишь невзаправдашний сон. И пусть он пока отойдёт в неблизкое прошлое.

А здесь и теперь она рядом с девочкой, которая ещё ничего не извела в этой жизни, чтобы вот так, завтра или через день, уйти из неё...

Может ли что быть страшнее? И какое такое есть объяснение или извинение за жизнь, отданную просто так, если всё-таки выпадает малый случай на спасение, на продолжение её без всякого предательства кого бы то ни было, без вины за грех, да и без самого-то греха?

И как поступить, когда деться некуда?

Но Бог ты мой! Что за дорога открывается перед девочкой? Позор, за которым последует какое-то и где-то наказание? Ну, а если остаётся какая-то надежда, что всё-таки она выживет? Выживут ли все они, кто здесь ходит копать землю под охраной автоматчиков?

И Клава, крестьянская женщина, мать своих детей и жена мужа, который где-то воюет или уже давно отвоевал, сама-то отяжелённая собственной своей неизвестностью, будто чем обожглась: да ведь перед Алёнушкой — весы. На одной чаше — позор, да, но жизнь, хотя и неизвестно какая и на сколько. На другой — просто смерть, без всякого выбора.

И она прошептала Алёнушке:

— Надо тебе выжить! А как выжить, подумать боюсь. Ступай, милая! Бог не выдаст, чёрт не съест!

13

Нет, не была Клавдия никакой провидицей, но пошло по её предсказанию. Да только с подломом, с новым испытанием, может, потяжелей других. Наутро после подъёма пришёл охранник, тот, первый, которого звали Ганс, и ничего не объясняя, отвёл Алёнушку в другой барак, на другом краю лагеря.

Там возле дверей стоял грузовик, в него садились такие же, как всюду, но незнакомые Алёнушке женщины. Ей велели залезать вместе со всеми. Вначале Ганс показал её здешней охране и женщине-капо, из арестанток.

Алёнушка сразу поняла, что эта женщина не оставит её в покое. Пока немцы отдавали ей свои распоряжения: Алёнин номер, фамилию, говорили ещё что-то обязательное, видно, в таких случаях, она кивала, будто понимала по-немецки, но Алёнушка чувствовала, что не понимает. Не понимает, но что-то про неё знает и имеет насчёт неё некое указание.

Грузовик поехал, и Алёнушке стало совсем тошнѳхонько: куда ни повернись, другие лица, незнакомые женщины, всё больше черноглазые. Некоторые переговаривались на других, совершенно незнакомых ей языках, две-три женщины показались ей похожими на Софью и Сару.

Боже! Как далеко отодвинулось то время! Она даже забыла про казнь учительниц, хотя тогда упала в обморок. Сколько же прошла и узнала она с тех пор! И маменьку Пелагею Матвеевну оставила вот в чистом чужом по-

ле! И голод, и каторжные работы испытала. А сейчас ещё что-то готовит ей судьба. Но за что? За какие такие и перед кем грехи, ею не совершённые?

Когда тряслась в том грузовике при первой своей поездке от другого барака, Алёнушка ещё не понимала, чем решено было её обломать! Узнала она это вечером, когда ей указали место перед самой лампочкой, освещавшей барак по ночам. Лампочка была прямо в глаза. И хотя она, в конце концов, не мешала спать в стельку изработавшемуся человеку, было неприятно от знания, что ты находишься под особым вниманием: прямо у входа, под лампой. Да и от двери дуло: зима и есть зима.

Но всё это Алёнушка свободно бы одолела. Не могла одолеть неожиданно понятого: её оторвали от Клавдии, последней близкой души. Ей давали понять, что она совершенно одна в чужой толпе выживающих теней.

И ещё она узнала, что работа, назначаемая этому бараку совсем уж вдали от лагеря, была самой тяжёлой. Среди громадных валунов они колотили кайлами землю, начинённую камнями поменьше, вроде бульжников. Строилась особенно прочная огневая точка, стены которой имели природную защиту и были практически непробиваемы. Пол внутри этой громады заливали бетоном, который приготавливался тут же: цемент высыпали из толстых мешков, заливали водой, приглаживали лопатами, подсыпали каменьев и снова заливали раствором.

Это делали два десятка мужчин, их привозили другой машиной, и барачная старшина, у которой оказалось неожиданно имя Ангелина, хриплым голосом своим, то ли хваля, то ли ругая, называла этот человеческий сбор “интернационалом”.

Нравы в “интернационале” оказались свирепыми. Работали жёстче, — наверное, объект торопились закончить. И кроме обычной солдатской охраны, здесь постоянно находились какие-то инспекторы, некоторые в офицерской форме, и другие, в штатском. Они крутились среди рабочих, давали указания, сердились, ибо их не понимают, били людей кулаками, сшибали с ног. Конечно, это касалось сначала мужчин, но не брезговали бить и женщин, особенно черноволосых, — постепенно Алёнушка узнала, что это были цыганки и еврейки. Их как-то и русские-то сторонились.

Да и вообще, бродила над этим “интернационалом” какая-то вроде как тьма. Все, ей показалось, опасались друг друга, никто не жался, как когда-то к Клаве, люди были подавлены ещё чем-то, кроме тяжкой работы. Может, уже крайним голодом?

Кормили здесь явно хуже, чем в первом Алёнушкином бараке. А работа получалась тяжелее. Она выбивалась из сил — колотила кайлом по камню, из-под него вылетали искры, но дело подвигалось худо. Ангелина, поглядывая на девочку, спросила однажды с усмешкой:

— Скоро израсходуешься?

Она задумалась. Никто не говорил такого слова, когда работали. А ведь на самом деле — всё расходуется: и руки, и ноги, и внутренности, наверное, и душа. Сила берётся от еды, а еды дают столько, сколько на работу не хватает. Выходит, если перерабатываешь, значит, тратишь остатки самой себя. Расходуешься. И если перестараться, то перерасходуешься.

Эта начальница из своих, дьявол с ангельским именем, безжалостная взрослая баба, той своей фразой лишила Алёнушку остатков надежды. Разве не знала она этого раньше? Знала, понятное дело. Но сейчас её словно приговорили. Никто и ничто не стояло теперь между ней и расправой: ни маменька, ни Клава, взрослая, утешающая душа, ни надежда на чудо...

Алёнушка заболела. Измученная, опустошённая изнутри, ощущая, кажется, жилы свои, не говоря о скелете, где все косточки — в ногах, в руках, в груди и пальчиках — слышны и стонут. И однажды она не смогла подняться утром. Её трясли, но не помогало. Подошла старшая с издевательским именем Ангелина, попробовала посадить Алёнушку на койке, та молча упала. Чувствовала только, что горячая слезинка прокатилась от края глаза к виску. Ангелина прописала ей своё лечение:

— Впору похоронщиков вызывать. Приехали, девка!

Но отнесли в лазарет на носилках. Больше Алёнушка не помнила ниче-

го. Прожила без памяти, как потом сказала ей с акцентом всё та же медсестра:

— Три сутток!

14

Зачем с ней возилась? Непонятно.

Готовилась ли она к чему-нибудь? Хорошему или плохому? О хорошем и думать не могло, потому что все знали: из лазарета выходят ногами вперёд. Но она и о плохом не думала. Плыла, будто в какой-то лодке. Вода тихо журчала, невидимая ей, лодка её сознания двигалась в неизвестном направлении, и она ничему не сопротивлялась, истратив все свои силы.

На третьи сутки ей дали выпить суп, но не ту бурду, которую разливали в бараках, а что-то поприятнее. Ещё прежде воткнули в руку иглу, и она смотрела на бутылочку, прикреплённую к железной стойке, из которой по прозрачному шлангу в неё возвращалась жизнь.

Ещё через два дня её погрузили в сани — да, да, самые настоящие деревенские розвальни, запряжённые лошадкой, и куда-то повезли. На выезде из лагеря у возчика проверили документы. Солдат подошёл к Алёнушке и отогнул широкий ворот тулупа, в который она была завернута, сверил номер, пришитый на робу со своей бумагой.

Потом она оказалась в деревянном доме. Комната, где её сразу заботливо уложили, была обита жёлтыми некрашеными досками, как у них дома, и как тогда, в детстве, Алёнушка стала разглядывать, что складывается у неё над головой из узоров, которые открывает распиленное дерево. Она видела цветы и птичьи клювы. Ещё ей привиделось чудище. Правда, оно меняло свой облик, превращаясь в следы сучьев, да и было далеко от неё — в углу, за дверью. Она спала и спала. И ела. Ей давали много жидкого. Какой-то суп. Какая-то каша. Она снова спала. И ничегошеньки ей не снилось. Однажды за дверью раздались твёрдые шаги. Кто-то шёл уверенной, надёжной походкой. Дверь растворилась и перед Алёнушкой оказался... Господи, перед ней стоял охранник Вилли!

Зачем! Почему? Она хотела вскочить, одеться, побежать, но не могла пальцем шевельнуть. “Всё! — говорила она сама себе. — Всё!” И слёзы катились из глаз её — откуда только столько взялось? Ведь когда ей было понастоящему худо, выкатывалась одна-единственная слезинка. И катилась к виску.

А Вилли сел на стул перед кроватью, силой взял её руку и вдруг негромко, срываясь на шёпот, стал говорить. Конечно, по-немецки:

— Бедная ты моя! Красавица ты моя! Как хорошо, что я тебя нашёл! В этом лагере! Возле смерти! Я спасу тебя! Ты хочешь этого? Я спасу нас!

Это было долгий, долгий и очень сентиментальный монолог, совершенно неприличный мужчине вообще и немцу-охраннику особенно, но Алёнушка, так и не выбравшись из болезненной слабости, не сумела найти сил, чтобы воспротивиться, возразить, отказаться. Даже встать и побежать она не могла. Только крикнула изо всех сил, но сил этих было так мало, что и крика-то у неё не получилось — так, сильный хрип лишь вырвался из неё и угас...

И ровным счётом ни о чём она не думала, кроме неожиданного ужаса — этого Вилли, тоскующего о какой-то любви, вражеского солдата, стерегущего её и многих других, таких же, как она. От чего же стерегущего-то? От свободы, от дома своего? От жизни, в конце концов?

Всё в ней, как перед смертью, промелькнуло за доли секунды, вся её жизнь: дом, папенька, школа, зелёный нарядный мох в лесочке возле дома, где упокоен Сергей Кузьмич, Соня и Сара, повешенные только за то, что они — еврейки, непомерной длины траншея, которую откопали селяне, и этот лагерь, из которого ходу нет. Кроме как на тот свет...

Да, всё так и происходит, когда кончается человек, — в доли секунды, в мгновения ока прокручивается перед ним вся его жизнь с трудами, грехами, радостями, любовью, — и потом уж он бросается в смерть.

Вот только у Алёнушки, в жизни её короткой, неопытной и невинной, ничего ещё не случилось по-настоящему-то. Так что её судьбушка очень быстро перед ней прокрутилась.

И она кинулась в смерть.

А оказалось — в жизнь.

15

Он быстро сказал, что любит Алёнушку, и хотя она не поверила ни одному его сентиментальному изъявлению — какая любовь? врага и заключённой? да ещё в концлагере? — противиться сил не было. Тяжёлое равнодушие навалилось на неё. Оставалось слушать.

А Вилли негромко, но твёрдо говорил о своём, и это был единственный выбор. Ему следовало объяснить себя, всё, что с ним происходит. И он это довольно внятно сделал. Время от времени, правда, останавливался, спохватываясь, что Алёнушка не понимает сложностей языка. Повторял то же самое, но попроще.

Он рассказал, что воевал на Западном фронте, и его ранили, он лежал в госпитале. Довольно тяжело ранили, хотели списать в инвалиды, и долгое время он жил у родителей, в деревне под городом Дуйсбург — там у них небольшая ферма. Ему даже хотели дать офицерское звание, но родители посоветовали: офицер всегда впереди, под огнём, особенно в пехотных войсках, и там пули их быстро находят. Впрочем, кто сказал, что солдатам легче?

Словом, он почти два года прожил дома, его вызвали на комиссию и призвали вновь — очень требовались на войне всё новые люди. В России. Тогда отец, его зовут герр Фридрих Штерн, использовал свои связи, чтобы Вилли отправили не в строевую часть, а в охранные подразделения. Учитывая ранение. И вот он оказался здесь.

Это счастье для солдата, говорил он, а для него — втройне, потому что начальник всех здешних лагерей был другом детства его отца, и он разрешает Вилли некоторые послабления. Например, — и это чудо! — он живёт не в казарме, а здесь, в домике у здешних жителей. За это он платит им — деньги присылает отец.

— Вот, — говорил Вилли, улыбаясь, — разрешите представиться, моё имя Вилли Штерн. Я солдат. И я полюбил тебя, русская девочка!

“Штерн, штерн, — вяло думала Алёнушка. — Ну, откуда ей известно это слово? Ведь оно означает... Господи, да ведь у Софьи Марковны была фамилия Моргенштерн! Утренняя звезда!”

Она слабо прошептала:

— Моргенштерн!

— Я-я! — твердил Вилли. — Да! Только Штерн! Просто Штерн! Не Морген!

Вилли, конечно, не понял, почему Алёнушка произнесла это слово, так взволновавшись. Да он и вообще не узнал историю Сони и Сары — так они до повешенных учительниц никогда и не добрались.

В первом же том монологе Вилли сказал Алёнушке, что понимает её страхи. Да, он — немец, а она — русская, и все, даже начальник лагерей, близкий друг его отца, которому всё нипочём, считает любовь Вилли не любовью, а просто увлечённостью. “Конечно, — говорит этот полковник, — я понимаю тебя как мужчину, и всех наших солдат понимаю, я, как видишь, тоже мужчина! Но всё это пройдёт, как только ты доберёшься до первой женщины! Сразу придёшь в себя! Будешь ругать себя за вздорное решение!”

А решение это он принял там, возле объектов, когда увидел Алёнушку, копающую землю. И потом, когда она просила похоронить свою мать прямо в поле. Но это не полагалось. Что делать — война.

Он, конечно, хотел помочь ей там, на дороге, но Ганс бы точно написал рапорт. И это могло закончиться пшиком. Его бы отправили на фронт. Могли бы отправить. А туда никто не хотел, особенно в последнее время.

Насчёт войны Вилли высказался сдержаннее. Он считал, что неизвестно, чем она кончится. В победу русских он не верил. Верил в немецкую победу.

— Поэтому, — делал он странный вывод, — я предлагаю нам жениться. Женитесь! Само это слово повергло её в ужас. Она ухватила одеяло, натянула его на себя. Да он просто издевается. Добивается своего и издевается.

— Ты не веришь! — сказал Вилли. И тут произнёс такое, что Алёнушка напряглась и, может, первый раз задержала на нём взгляд. — Да я и сам не верю! Немец и русская... Русская и немец... Ведь ты предашь Родину, я это знаю. А надо мной будут смеяться немцы. И от этого не спрячешься. Ни тебе не поверят, ни мне.

И она увидела, что он не улыбается уже, а глаза у него блестят от слёз.

16

Она не поняла, но почувствовала — это правда.

Разумом верить не могла. Почему вдруг немец выбирает её из толпы измождённых пленниц, говорит о какой-то любви, сам ни во что не верит, и от этого всего только что не плачет? Ведь они звери, эти немцы! Как тогда вешали учительниц на турнике возле школы! Как Софья и Сара, склонив головы, дёргали судорожно ногами, будто туфли сбрасывали. Чем лучше другие немцы, которых встречала она? Все они на одно лицо! На одно и то же — жестокое, без всякого сочувствия — лицо. И вот выискался один! К ней пристал! Почему!?

Единственное, что вдруг не поняла, а почувствовала она — совсем повзрослому. Ну, да! А если мы победим? Что-то на востоке гремит и гремит... И чем это кончится для Вилли? Его убьют? А её?..

И здесь грянуло новое испытание. Да горькое-то какое! Прожив шесть дней в доме у Вилли, она вернулась в концлагерь. Однажды вечером Вилли предупредил, что срок её “отпуска” кончился утром, что полковник не раз уже спрашивал его, получил ли он удовольствие, и Вилли соврал, что получил. Однако Вилли давно решил, что не позволит себе быть скотом по отношению к Алёне, потому что действительно любит её. И он будет ждать её согласия. Предлагает даже зарегистрировать брак, полковник на это имеет законное право. И хотя для него это будет настоящий удар, Вилли уверен, что уговорит его исполнить свою юридическую возможность.

— Ты спросишь, что будет дальше, — говорил Вилли. — Не знаю. Подумаю. Есть простой вариант.

Он подумал. И сказал ещё кое-что, её совсем не удивившее:

— Тебя просто продадут. На сельхозработы. Наверное, тебя могу купить я сам. Я же фермер! И я могу отправить тебя домой. К родителям. Но я не хочу так.

Помолчал. Долго смотрел ей в глаза, потом твёрдо произнёс:

— Я хочу на тебе жениться!

Он поцеловал её в лоб, как целуют покойницу. И больше в тот раз не прикасался к ней. Ранним утром, в зимней тьме, они опять поехали в лазарет. Оттуда он повёл её к бараку пешком.

Лагерь поднимался ото сна, внутри барака слышались голоса заключённых.

— Ты скажешь, так не бывает, — проговорил Вилли. — Я и сам это знаю. Всё могло бы быть проще и по-моему. Но я не такого хочу. Прощай, если не позовёшь меня. И тогда ты погибнешь раньше меня. До свидания, если меня позовёшь. Запомни: я не скотина. Не все немцы скоты. И я люблю тебя.

Ох, ну и расхохотался бы этот барак, эта обездоленная команда измождённых женщин разных наций, одетая в полосатые платья, если бы Алёнушка сказала им...

Им бы сказала?.. Что она чиста... Да ни за какие коврижки, как говорят русские, не поверила бы ей эта толпа. И Алёна без всяких разъяснений знала, чего ожидать, потому что всем стало странным образом известно: заключённую такую-то вывозили за лагерную проволоку.

Алёнушка переступила порог, и несмотря на то, что была пора утреннего оживления, гомон слегка притих. На неё воззрились десятки глаз. И тут же кто-то крикнул:

— А-а! Подстилка фашистская!

И ещё, ещё:

— Сучка немецкая!

И всех перекрывающий вопль:

— Не слушай их! Спасайся, как можешь!

Алёнушка рванулась назад, выскочила на улицу, но Вилли исчез, зато там стоял другой, неизвестный ей охранник, и он крикнул:

— Назад! Выходить по команде!

И она снова вступила в барак, в ад, который выговорился, выкричался и теперь молчал.

Кто-то сказал за её спиной:

— Капо! Ангелина! Переведи меня подальше от этой суки.

— Я тебе переведу, — крикнула Ангелина голосом, не содержащим угрозы.

— И меня, — твякнул ещё кто-то.

Даже в кузове грузовика, где их было, по русскому присловью, как сельдей в бочке, вокруг Алёны образовалась небольшая, но пустота. Ей не за кого было держаться. Только ладонями касалась она колеблющейся, ненадежной брезентовой крыши, только пальцами. Её швыряло, она падала.

Работа шла легче, ведь так или иначе Алёнушка передохнула, укрепилась едой. Но когда землекоп позвали на обед, вокруг неё снова образовалась пустота. Слезы падали в железную миску с жалкой бурдой, и Алёнушка не знала, что делать. Молва заключённых затвердила грех, ею не совершённый. Что же было делать теперь?

Ни слова, ни слёзы не признавались оправданием. Ты виновата, и всё! Ты виновата, потому что это, во-первых, предательство Родины! Но самое страшное, что может совершить женщина на войне, так это переспать с врагом. Так что это предательство мужа-солдата, который воюет с врагом, хотя, может, никакого мужа и никакого солдата у тебя нет. Всё равно. Наконец, ты продалась за то, чтобы вырваться отсюда, хотя — ха-ха! — вырваться тебе никуда не удалось, сука, и это твоя Божья кара! Проглоти её!

И наконец! Идёт война! И все страдают! А ты хочешь уйти от этого страдания! Так пусть тебя настигнет то, что страшнее всего, — не рана, не смерть, а человеческое презрение, которое сильнее даже смерти и смерти молвой людской переживёт.

И вот тогда рядом с девочкой кто-то опустился прямо на снег. Справа и слева. С одной стороны была цыганка, ещё молодая, но постарше, конечно, Алёны. С другой присела капо Ангелина. Они вели себя так, словно их что-то связывало, во всякой случае, цыганка начальницы не страшилась.

— Дай-ка мне ручку, — сказала она, и хотя Алёна противилась, силой притянула к себе её ладонь. И тут же громко, чтобы слышали другие, воскликнула:

— Слушай, красавица!

А дальше прокричала то и так, что Алёнушка никогда не могла забыть:

— Ждёт тебя долгая жизнь! Но трудная и несчастливая!

— Выбирай, — усмехнулась командирша Ангелина. — Жизнь так жизнь. Пусть несчастливая! А можно и без неё обойтись!

Прогнала цыганку. Спросила, к Алёнушке наклоняясь, чтоб никто не слышал:

— Вилли спрашивает, да или нет?

И Алёнушка, опустив голову и помолчав, прошептала сдавленным голосом:

— Да!

17

Наутро она снова оказалась в лазарете для заключённых, но не на больничной койке. Всё та же медсестра, говорящая с акцентом, у которой оказалось немецкое имя Дагмар, дала ей ведро, указала на тряпку и ещё — на койку в комнате для медсестер. Коек было только две, и заправлены они по-человечески, с белыми простынями и хрустящей наволочкой на подушке.

На одной поперёк лежало тёплое платье, комбинация, нижнее бельё, на полу — простые туфли без каблуков.

Стонов, криков, да и просто чьих-то голосов слышно не было, и Дагмар предупредила возможный вопрос:

— Если бы полных-х сюта клали, мы бы пез прот-тыха жил-ли! Понял-ла? Здесь действует прирот-тный от-тбор. А т-ты переот-теньс-ся.

Долго размышлять не пришлось. Приехал на мотоцикле с коляской Вилли, усадил в неё, сам ухватился за плечи водителя, и они уехали в знакомый уже Алёнушке дом, пройдя, ясное дело, проверку бумаг на выезде. Номера на её груди уже никто не спрашивал. Да и обычной одежде не удивились.

Алёнушка осталась одна. К вечеру произошло важное открытие. Ещё до возвращения Вилли в дверь постучали и вошла Дагмар. Она улыбалась и медленными, неспешными, растянутыми на согласных, словами объяснила Алёне, что это её дом, точнее, дом её родителей, а Вилли снимает здесь комнату, потому что он сын состоятельных родителей в Германии, и хотя солдатам не полагается получать очень много денег из дому, ему каким-то образом делается исключение.

— Тебе очень везёт, — сказала Дагмар. — Вилли хороший человек, понимаешь? Я наполовину эстонка, а наполовину немка, и я бы была счастливой иметь такого мужа. Поверь мне!

Она помолчала и сказала откровенно, с явной завистью:

— Почему он полюбил тебя?

Появился Вилли. Закрыл дверь, чтобы никто к ним не входил, накинул салфетку на часть большого, грубо сделанного стола, уставил её едой, о которой Алёнушка и представления не имела даже тогда, когда не было войны.

Вино со странным названием на бутылке — “Фрау милх либе” — “Молоко любимой женщины”, розовая ветчина в прозрачном, колышущемся желе, выпавшая из вскрытой железной банки, чёрные и солёные блестящие ягоды, имени которым Алёнушка не знала вовсе, сыр в вощёной бумаге из круглой красной коробочки. Даже сосиски, которые Вилли молниеносно разогрел, он достал из большой железной банки.

Принёс он ещё и свечу. Невиданно толстую, нерусскую, во всяком случае. Алёнушка таких свечей раньше не видала.

— Ну, вот, — сказал он, когда они сели за стол. — Это наша свадьба, дорогая русская девочка.

В одной руке он держал бокал с вином. Был такой бокал и у Алёны.

— Как жалко, что идёт война! И как было бы здорово, если бы был мир! Мы бы сидели с тобой в красивом ресторане над Рейном. У нас в Дуйсбурге есть очень хорошие рестораны!

Алёнушка моргнула, не понимая, как могла бы она, не будь войны, сидеть в каком-то Дуйсбурге.

— Ну, да! — опустил голову Вилли. — Если бы не война! Не концлагерь этот! Я бы тебя и не увидел! — И прибавил: — На этой земле...

Свечка потрескивала, на тарелках взлёскивала вкусная еда, и Алёнушке явилась совершенно страшная, какая-то голая в своей страхоте мысль: вот она и продаёт душу дьяволу!

Разве она любит этого Вилли? Да она же его просто не знает, да и когда, как могла узнать? Зачем? По совести-то если сказать, она просто спасается, как велела Клавдия. Бежит из ада!

Она подняла бокал, молча чокнулась с Вилли и первый раз в жизни сделала глоток вина. Голова сразу закружилась, будто ей кто-то помог. Кто-то тёплый, живущий внутри неё самой.

Они даже не поели. Стали мужем и женой.

Неужели стали?

Ничего, кроме короткой боли и отвращения, она не испытала. Отвращения к этому Вилли, к самой себе, мерзости и унижения. Он уснул, а она прошла босиком к ведру, стоящему за дверью, присела, опрастываясь, и заплакала, завывала, как воют звери. Да и не звери даже, а — так, мелкие поганые твари...

А свадебные угощения Алёнушка медленно ела одна, утром, когда деревянный дом стих. Изредка, правда, в нём что-то потрескивало, гулко ударяло. Где-то на втором этаже слышались шаги, но они были такими тихими, что можно было вообразить — это осторожно ходят мыши или же здешние привидения.

Алёнушка плакала, плакала без конца, отирала рукавом слёзы, утихала и снова плакала. Может, первый раз в жизни она плакала о себе. Ведь она даже с парнями не зналась, никто её своей, русский, не поцеловал до этого Вилли, и вот она досталась врагу, немцу.

К Вилли она мыслями не могла и не хотела приближаться. Что-то в ней как будто онемело. Казалось, что и Вилли, и всё, что случилось, происходит не с ней, не в её жизни, а с кем-то другим, и не наяву, а в каком-то полусне.

Вечером Вилли принёс сверху патефон и позвал Дагмар — её родители так и не спускались вниз, наверное, не желали мешать молодым. А Дагмар смеялась и была в нарядном, таком глупом розовом платье, и Алёнушке подарила что-то голубенькое. Но это голубенькое болталось на ней, на скелете, только начинавшем обрывать чем-то похожим на плоть, а Вилли ничего этого не видел, не хотел видеть и понимать. Он, глупо улыбаясь, смотрел Алёнушке в глаза и всё время целовал её в лоб.

И чем больше, чем вкуснее ела Алёнушка, чем больше она становилась похожей на женщину, тем с большей жадностью любил её Вилли — и при свете, и во тьме.

И хотя даже самой ей это было отвратительно признавать, она, вопреки своей воле, оживала. Будто просыпалась от долгого дурного сна. Являлась к жизни, окружённой бедой. Бедой, всласть испробованной, если может быть своя сласть у беды. А теперь вот от неё бегущей изо всех сил, во все лопатки удирающей от смерти к жизни, и глупо, конечно же, надеющейся, что такой побег возможен.

Спасаясь душой, выбегая из тьмы во тьму же, но ещё не зная об этом, Алёнушка стала просыпаться как женщина. Однажды, сама того не поняв, обняла Вилли и, кажется, вдохновила его. А на его спине, под лопаткой, она ощутила впадину, целую ямину, заросшую кожей, под которой не было рёбер, и поняла — это зажившая рана.

В тот миг она не пожалела Вилли, скорее испугалась.

Но совсем немного спустя Алёнушка неожиданно ощутила, что ждёт, когда придёт Вилли. Выходить из дома строго-настрого запрещалось, и Алёнушка истоптала всю комнатку, где жили они, иногда выбиралась в большую прихожую, целый холл с холодным, ни разу не заживавшимся камином, — впрочем, что это за печка, и как она горит, Алёнушка и понятия не имела, в их деревушке о таких чудесах даже не слыхивали. Так что она прохаживалась, и хотя ступала легко, на носочках, доски под ногами пощёлкивали, постреливали, поскрипывали, и совершенно нового свойства одиночество накатывало на неё.

В лагере, который не зря назывался концентрационным, она ни на минуту не оставалась одна. Только теперь ей стало вдруг ясно, что то лагерное многолюдье помогало ей. Все они там были вместе, все на грани жизни и смерти, но — вместе. Теперь она стала сыта, но вдруг, и разом, оказалась одна. И, может быть, это такой обмен у неё вышел: спасение поменяла на вечное одиночество? И поэтому Вилли вдруг становился надеждой. Она ждала его. Хваталась за него, как за соломинку... Не просто и не сразу поняла она тяжёлую правду: он для неё сразу — и спаситель, и губитель.

Ей уж и такое в голову приходило: убежать. Но куда? Было бы это хоть в родных краях, хоть в каких-никаких русских землях, чтобы спросить-то можно было, куда идти. Но тут, где русская речь почти чужая, на первом же перекрёстке схапуют и отправят, куда Макар телят не гонял... В другой, может, концлагерь какой. Или на месте приشلёнут, как комара. Если дома, близ деревушки, на сельском отшибе, про партизан они не слыхали, то здесь о них и вовсе никто не говорит. А и что скажешь партизану? Жила,

мол, с охранником Вилли. Он и ответит: “Пошла вон, подстилка немецкая!”

Недели через три Алёнушка почувствовала странные в себе перемены. Ей стало как-то хорошо. Что-то в ней двигалось будто бы. Наверное, мускулы, получившие хорошую еду, стали распрямляться, становиться гибче, наливались жизнью. Странное дело, но у неё и настроение стало меняться.

Всё она знала, всё понимала, всё видела, что делается в какой-то версте от её деревенского окна, вон там, за колючей проволокой, но её почему-то это перестало касаться. Жила и ждала Вилли. И улыбалась, когда он приходил. И во тьме обнимала его, с ужасом и с радостью понимая, что он теперь единственный близкий ей человек.

Вот когда она, наконец, сломалась.

19

Дальше жизнь понеслась вскачь.

Как-то вечером они снова развлекались — Вилли из вежливости танцевал с Дагмар, а сам всё время обнимал Алёнушку, обучая её танго и фокстротам, и Алёнушка вовсю уплетала еду, доставленную им на ужин, и вдруг эта немецкая эстонка нахально сказала:

— Вилли, тебе не каш-шется, что тфоя жена оч-ч-чень мнока кушшает?

Но Вилли-то понимал по-русски не больше десятка слов. Алёнушка сообразила, хотя и не сразу, с некоторым опозданием, что эти слова предназначены ей. И спросила:

— А что?

Дагмар оставила кавалера, остановила рукой Вилли, который потащил Алёну танцевать:

— Погоди!

Наклонилась к Алёнушке:

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, — удивилась Алёна.

— Очень хорошо?

— Очень хорошо.

— А у теп-пя дафно, — и наклонилась к уху Алёны. Та вздрогнула, встала с места, ответила:

— Да сколько здесь живу...

— Теп-пе надо пак-касаться докторру!

И повторила то же самое Вилли. Тот ничего не понял, но озаботился.

— Мне не хочется, — сказал он, — тащить её в лазарет, за проволоку.

— Ну, так притащи доктора сюда! — ухмыльнулась Дагмар.

На другой день, по-немецки чётко, Вилли доставил к ним в комнатку доктора, который, осмотрев Алёну, установил, что она беременна. Это известие походило на ледяной обвал.

Однажды, совсем маленькой, лет пяти или шести, ещё до школы, Алёнушка вышла в начале весны на улицу возле своего дома. Пригревало солнышко, даже, пожалуй, как следует грело, и с крыши сначала падали отдельные капельки, а потом они стали бить всё чаще и чаще и потекли тонкой-тонкой струйкой.

Алёнушка бездумно любовалась этим, смотрела, как льётся вода, и вдруг что-то зашумело наверху. Всё в ней оборвалось, онемело. Ужас, сжавший всю её, объявил, что всё кончено, и холод, падающий сверху, будет всегда, и снег завалит Алёнушку с головой, насмерть.

Но снежная лавина с крыши сошла, Алёнушка открыла глаза. Вокруг всё так же сияло солнце, рядом с лицом лежал снег, и его можно было бы лизнуть, открой только рот. А страх прошёл. Она зашевелилась, задвигала руками, ногами и выбралась из сугроба, едва её не скрывавшего.

Ужас исчез, будто его не бывало, она тогда хмыкнула, не зная, то ли плакать, то ли смеяться, и вот так — полуплача и полусмеясь — выбралась из сугроба. А потом уж рассмеялась над собой, освобождённо и счастливо — ведь на неё не страх упал, а только его шутовское подобие!

Но вот то краткое время — когда на тебя летит снежный вал, заваливаясь за шиворот и ударяясь в лицо, — она запомнила как нечто неожиданное, всегда готовое свалиться сверху, вбросить в скорый ужас, после которого хочется и плакать, и смеяться разом.

Она и плакала, и смеялась, пока Вилли, вдруг посерьёзнев, растеряв солидность и уверенность, сначала шагал по их комнате, потом шагал по каминному залу, потом уходил и возвращался, пока не объявил:

— Тебя хочет увидеть мой дядя!

— Кто? — удивилась она.

— Начальник здешних лагерей. Я тебе говорил, что это друг моего отца, но он мой дядя. И они учились с моим отцом в одной школе, только дядя моложе. Я всё устрою. А ты не бойся!

— Ты повезёшь меня в лагерь? — спросила Алёнушка, и вся её душа скатилась к коленкам. Она бы и шага не сделала, приведись ей идти. Лагерный ужас ворвался в неё. Ведь могут вернуть. Теперь-то! Беременную?

— О, нет! — сказал Вилли. — Он приедет сюда.

Настала многодневная пауза. Сначала Алёнушка ждала этого начальника трепеща, едва не теряя сознание. Она не понимала, зачем это всё, нельзя ли как-нибудь без такого ужаса, но Вилли посмеивался. Хотя, заметила она, и не очень уверенно.

— Не бойся! — говорил он. — Раз уж решение принято, то остальное легче.

Что-то неверное звенело в нём, какая-то неправда. Однажды он усадил её напротив себя, попросил спокойно его выслушать. Обойтись без паники.

— Нам надо жениться. Официально. Этого я добиваюсь от полковника. Он смеётся надо мной. Говорит, что хватит! Каникулы кончились! Я объявил ему о ребёнке. Он говорит — ты сама ребёнок. И я решил, что тебе надо уехать. К моим родителям! Чтобы ты спокойно выносила ребёнка. Родила его в нормальной больнице. А я приеду к вам. Буду делать всё, чтобы этого добиться.

Вот так. Целый план. Невозможные мечтания.

Снова, как при докторовом заключении, — холодный снеговал, непонимание: смерть это или жизнь? Она уже не плакала.

— Тебе надо поучить немецкий! Я хочу, чтобы у тебя была моя фамилия! Понимаешь! Штерн! Алле Штерн! Я добиваюсь документа на это имя. Аусвайс!

Она без конца плакала, оставшись одна. Куда она поедет? Как она станет немкой — ведь Вилли этого хочет? Да и что из всего этого получится? Почему он говорит, будто её отпустили? Кто отпустил? Как? Где хоть одна бумажка, дающая ей свободу?

Всего-то и есть — беременная девчонка, и всё! А вот теперь ещё и имя надо отдать? И фамилию... И бежать?

От кого? Куда?

20

А Вилли тянул. То ли у него не получалось, то ли он чего-то опасался. Когда они оставались одни, он тоскливо рассматривал Алёнушку и каждый раз спрашивал одно и то же:

— Ты хочешь родить нашу крошку?

Она кивала. Но его это как будто не утешало. Он снова спрашивал:

— Ты хочешь родить нашего сынка? Или дочурку?

— Почему ты не веришь мне? — спрашивала она, и произносила совсем взрослые слова. — А что мне остаётся?

— Если будет девочка, — сказал он ей в тот вечер, — назови Елизаветой, в честь моей бабушки, это она меня вырастила таким дураком. А если мальчик...

Вилли довольно долго молчал, сосредоточенно о чём-то думая, потом медленно, и вроде как не для Алёны даже, проговорил:

— А если мальчик, назови его Иоганн. В честь Гёте... Ты знаешь такого поэта? — И не дождавшись её неуверенного кивка, прибавил совсем тихо, — Только Гёте может выхлопотать нам прощение у будущего...

Поняла ли она его? Вряд ли. Только подумала, что совсем не знает этого человека. И что он может оказаться совсем не похожим на всех других немцев, которых она страшится...

Однажды он сказал так, что сразу стал ей ближе, в один миг. И она опять пожалела его:

— Понимаешь, — сказал он, — я хочу, чтобы после меня кто-то остался. Сын или дочь. А то ведь — война. Раз — и всё кончено. И никого после тебя!..

Он смотрел на неё с какой-то грустной улыбкой, и эта улыбка, наверное, подтверждала, что он не верит в печальный исход. Вилли не раз объяснял Алёнушке, что война закончится так или иначе, и все, кто выживет, продолжат существовать. И солнце не зайдёт, и люди станут работать дальше, любить, рожать детей, виновных накажут, но невинных — большинство, и если ты никого не убил... Тут он умолкал, останавливался, и Алёнушка понимала так, что это относится к нему самому. И верила его словам. Хотела верить. Уговаривала себя поверить.

Она спросила его:

— Почему ты выбрал меня? Мало немок?

Вилли усмехнулся. Помолчав, сказал:

— Сделаю странное признание, хотя ты, наверное, не примешь его. В нём любое слово противоречит другому слову. Первое: я должен поторопиться. У меня нет времени. Второе. Мне стыдно, что я здесь. Лежал бы в окопах — было бы легче. Третье. Я увидел тебя возле мёртвой матери. Это плохо для солдата, но мне стало жалко тебя. И себя.

Опять невесело усмехнулся:

— Да ты ведь всё это знаешь...

Вилли тянул несколько недель, живот Алёнушки стал округляться. О чём-то он разговаривал с Дагмар, однако это происходило наверху, откуда так ни разу и не спустились её родители. Но Вилли туда поднимался, потом объяснял, что заносил продукты, и постепенно стало понятно, что дело не только в этом.

Все эти дни он что-то торопливо писал, рвал бумагу, снова писал, наконец, заклеил написанное в конверт. Получилось что-то пухлое, этакий бумажный брикет.

Дагмар передела Алёну в своё слегка подправленное пальто, принесла вполне приличную обувь, неновые, но хорошие два платья свободного покроя.

Наконец, они втроем сели за столом в их комнате. Дагмар, видно, требовалась на случай перевода технических терминов, и Вилли объяснил план дальнейших действий.

Сначала он отдал ей аусвайс, с фотографией, которую сделал в этой же комнате дней десять назад чудным фотоаппаратом, умещавшимся в его ладони. По документу её звали Алле Штерн. А в отдельном листке с немецким орлом, который держал в когтях круг со свастикой, значилось, что жена Вилли Штерна возвращается к месту его жительства в предместье города Дуйсбурга, адрес такой-то. Справка от врача подтверждала её беременность. Ещё одна справка, от лагерного лазарета, говорила о том, что Алле Штерн является младшей медсестрой и допущена комиссией к обслуживанию раненых.

Вилли сказал, что завтра уходит санитарный поезд в Берлин. Везут тяжелораненых офицеров. И лагерный доктор, известный Алёнушке, договорился, что в качестве вот такой младшей медсестры в поезд возьмут и её. Надо будет помогать. Жить, пока идёт состав, она будет в купе на четверых, с немецкими медсестрами. Поэтому не надо много говорить, чтобы в ней не узнали русскую, хотя...

— Ты же похожа на немку! — возмущенно воскликнула Дагмар. — На красивую немку! На красивую беременную немку, которая едет рожать нового солдата!

— Только не это! — воскликнул Вилли.

— Ну, ладно, — не стала спорить Дагмар, — главное, чтобы спокойно доехала! Вот я о чём!

Всё это она приносила по-немецки, без забавного акцента, который возникал у неё в русской речи, и Алёнушка, теперь Алле Штерн, частенько и с улыбкой вспоминала потом эту свою наставницу, совсем-то не намного старше по возрасту, явно завидовавшую её судьбе.

Вот бы кому надо оказаться на моём месте, думала она. И у неё бы всё получилось, у этой Дагмар. Хотя бы потому, что она была наполовину немкой и, таким образом, ехала бы на свою, пусть даже неведомую ей, родину. А Алёна ехала в чужую страну.

Перед посадкой в поезд Вилли дал ей тот самый толстый пакет.

— Это письмо родителям, — сказал он слишком бодро, — оно всё объясняет. Хотя я уже писал им. — И шепнул, прижав её к шинели. — До встречи на Рейне.

Они обнялись и при всех поцеловались. Может быть, это был первый и единственный осмысленный Алёнушкин поцелуй.

Всё её существо было в смятении. И оно, это смятение, походило на русскую зимнюю пургу, на снежную бурю, когда ветер сечёт лицо, не давая говорить, слова невозможны, и только слёзы — одни слёзы! — остаются в человеческой воле... Впрочем, и это ошибка, потому что слёзы выбивает ветер... Они поцеловались — победитель и побеждённая, спасаемая и спасающий, оба — обречённые.

Ох, сколько же она передумала всякого, пока поезд с ранеными немцами, под их крики и под их смерть — многие умирали в пути! — двигался через Кёнигсберг и Польшу в Германию.

Не раз и не два, особенно почему-то ранними утрами и по вечерам, поезд на запад, перед которым раздвигали все остальные составы, обгонял товарняк со знакомыми вытянутыми оконцами под крышей.

Она вспоминала, как Клава подсадила её, чтобы посмотреть, что стало с их поездом, который бомбили наши самолёты, и теперь вглядывалась в эти оконца, зная, что делает. Несколько раз в оконцах этих виднелась рука в полосатой куртке или часть лица: глаза, чаще всего — испуганные, и кусок полосатой шапки...

Поезда с узниками стояли, пропуская скорый литерный, и Алёнушка едва сдерживала слёзы. Мысль, которая её угнетала, была убийственно проста: узников везут в Германию силой, а она едет сама. По какой воле — это выбирать ей. По доброй? Чтобы родить дитя? По злой? Чтобы родить немца? И кто она сама?

Пробовала она думать о любви. Ну, да, Вилли был её первым и единственным, ничего другого она не знала в этом страшном мире, куда её враз, без всяких предупреждений, кинула война. И она выбиралась из смерти — благодаря случайности, благодаря вражескому солдату, который, может быть, один из миллиона этих немцев оказался добрым и любящим человеком — а ведь такого не бывает!..

Любила ли она? Она этого не знала. Да если бы и любила, разве это может быть хоть каким-нибудь оправданием? Но если даже дитя, растущее в ней, и может стать доказательством любви двух взрослых, то сколько бы ещё потребовалось бесчисленных дней и лет покоя и благоденствия, чтобы разницу между русской и немцем, между Вилли и Алёнушкой сравнить вообще? Сравнить навсегда, как вырубить чертополох, неведомо откуда колопещий людей своими колочками?

Она ловила себя на том, что это не её мысли. И удивлялась, что думает о предметах, недоступных человеку с её простенькой судьбой. Но вот — странное дело! — она думала именно так... Любовь или нелюбовь... Она, едущая спастись, и эшелоны с заключёнными. И маменька, маменька, оставшаяся в неведомом поле, на мёрзлой, чужой земле.

Но сама-то! Сама она кто?

Видать, их поезд шёл, окружённый почтением.

Остановки были краткими: для смены паровозов — всегда чёткой, без сильных толчков при сцепке, — для загрузки продовольствия и воды.

Когда миновали Польшу, раза три сгружали покойников. От маленьких, аккуратных, всегда жёлтых вокзальчиков к последнему вагону бегом подбегали со свёрнутыми носилками молодые, как правило, солдаты, через несколько минут возвращались, мелко семена, с носилками уже развёрнутыми, на которых кто-то лежал, с головой укрытый простынёй.

Раза два снимали живых, но особо тяжёлых. Поездные врачи и сёстры не могли надеяться, что таких доведут, и отдавали их в руки врачей местных госпиталей и больниц. Этих выносили из разных вагонов, а не из последнего, который был превращён в покойницкую.

Алёнушка, будто в затянувшемся сне, смотрела на эти торопливые остановки, разглядывала аккуратные мирные станции, дома, как будто все подряд новые, людей, говорящих на языке хоть ей и знакомом, но... всё-таки чужом. Когда говорят по-немецки абсолютно все, без малого исключения, наконец-то начинаешь окончательно соображать, что ты среди чужих. И что ходу назад нет никакого. И тебе остаётся только одно: приспособиться. То есть врать! Всё время, непрерывно и во всё врать!

А если тебе ещё и созданы все условия, чтобы врать, фрау Штерн?

Впрочем, врать её никто не заставлял. Три соседки оказались на редкость доброжелательными. Как только они разглядели её живот, в них, кроме обыкновенного женского сочувствия, — может, даже и зависти, ведь все они были старше Алёнушки, но никто ещё и не думал о детях, — проснулось что-то ещё, совсем непонятное.

Хельга, старшая по возрасту и субординации, пошутукавшись в коридоре с остальными, как потом сама же и призналась, сходила к начальнику эшелона и предложила, чтобы тяготы поездной службы, которая, конечно, возлагались и на фрау Штерн тоже, они разделили между собой. Потому что она едет рожать солдата рейха.

Благочестивую эту мысль подхватили и остальные сёстры, и немногие женщины-врачи. Да и мужчины разных должностей и званий согласно кивали, узнав о предложении этого сознательного купе. Хельга даже однажды произнесла фразу, в тот самый миг, когда на крохотном вокзальчике местный медсостав принимал носилки, закрытые простынёю, — что, мол, немецкие женщины нарожают новых воинов вместо ушедших навеки.

Это без всякой иронии передала Алёне другая соседка, немка эстонского происхождения, как и Дагмар, но только стопроцентная, — Эва. В первый же вечер она рассказала, как могла с родителями угодить на русский восток, куда высылали всех немцев, живших в СССР, после начала войны. Но им удалось сойти за чехов, и теперь она служила в армии, имела звание младшей медсестры, безумно гордилась этим и, как и Дагмар, мечтала убраться подальше от России, на родину предков. Родители её умерли, она теперь одна, и путь её лежит только на Запад, поэтому она придавала особое значение всем немецким установлениям.

Отношение Хельги и её предложение освободить Алле Штерн от тяжёлой работы с ранеными Эва приняла как благородный девиз, свою гражданскую обязанность, и всячески заботилась о беремнной. Но в этом таилась и опасность.

Эва знала русский, что и демонстрировала не раз, когда они сходились в купе вместе. Слава Богу, что сходились редко, — работы было невпроворот, и редко когда ночью все спали одновременно. Уж двое-то почти всегда дежурили возле раненых.

Эвы Алёнушка опасалась по простой причине — чтобы не выдать себя, чтобы она не поняла, что Алёнушка не немка, а русская. Потому Алёна говорила по-немецки короткими фразами. Отдельными словами. Соседки по купе относились к этому с пониманием. К тому же её стало тошнить — несколько раз Алёна стремительно выскакивала из купе.

И они её жалели! А она, освобождённая от ухода за ранеными, брала щётку с длинной ручкой, ведро и шла по вагонам, медленно и тщательно протирая полы. Раненые не обращали на это внимание, но персонал — кто знал о беременности младшей медсестры — ободряли её не раз добрыми словами и даже шутками. Алле Штерн отвечала тихим голосом:

— Данкешён! — Большое спасибо!

Четвёртое место в купе занимала берлинка Линда. Хохотушка, не менявшая своего весёлого настроения ни при каких обстоятельствах, она, узнав, что в Берлине фрау Штерн надо пересесть на Дуйсбург, чтобы ехать дальше на запад, воскликнула:

— А в поезде есть майор из Дуйсбурга! Может, он знает твою семью?

В Алёнушке всё оборвалось. Документы у неё в порядке, Вилли — её муж, она едет к его родителям. И хотя никто не требовал от неё скрывать своё происхождение, она прекрасно понимала, как переменится обстановка в купе, признайся только, кто она.

Но Линда была из породы упорных вертушек. Она спросила, как зовут мужа Алле, и возвратилась в купе с выпученными глазами.

— Фрау Штерн! — сказала она при Хельге. — Да ваша семья — одна из самых почтенных в Дуйсбурге! Ваш тесть имеет приставку *фон* — её же носят аристократы!

Алёнушка опустила голову, не зная, как быть. А Линда не успокаивалась:

— Майор сказал, что ваш муж Вилли Штерн должен быть не менее чем полковником!

— Что вы! — встрепелась Алле Штерн. — Он простой солдат! — И прибавила, подумав: — Он был тяжело ранен на Западном фронте!

— А теперь воюет в России! — как-то торжественно, почти траурно проговорила Хельга. — Честь и слава такому солдату! Отстань, Линда!

— Но майор хотел бы видеть жену Вилли! — не унималась доброжелательница.

— Скажи, — спасла Алёну Хельга, — что её тошнит. Что у неё интоксикация. И она лежит!

И заботливо уложила Алёну, повторяя про себя:

— Полковник, солдат!.. Какая разница? Просто немец!

“А теперь, — подумала Алёнушка, — усади-ка этих подружек вокруг себя да расскажи, что было с тобой на самом деле!”

22

Как и обещала, Линда помогла ей добраться до поезда, идущего в Дуйсбург, купила билет, устроила в купе. Линду даже освободили от выгрузки раненых, только чтобы она могла помочь фрау Штерн.

У фрау же было порядочно рейхсмарок, которыми её снабдил муженёк, и когда она вынула целый свёрток их, сложенных пополам, чтобы заплатить за билет, Линда восхищённо вздохнула. Наверное, окончательно утвердилась в мысли, что имеет дело с богатой аристократкой.

Алёна перехватила этот восторженный взгляд, обращённый к деньгам, и, не зная, правильно ли делает, протянула Линде всю пачку. Та резво отскочила.

— Что вы, фрау Штерн! Как можно, фрау Штерн!

Тогда фрау отсчитала пять или шесть самых крупных купюр, протянула Линде. Та приняла. И сделала книксен. Так же, бывало, приседала Дагмар.

Её глаза светились искренней благодарностью. А ведь Алёнушка была намного младше неё. Лет на пять, самое малое. Так они и расстались — очень доброжелательно улыбаясь друг другу.

Но всё остальное!

Ей нужно было сойти за одну остановку до Дуйсбурга, в его пригороде, а на станции, по инструкции, которую продумал Вилли, следовало выйти на привокзальную площадь, подойти к любому извозчику и сказать, чтобы отвезли до фермы Штернов. Там расплатиться.

Но когда Алёна вышла на небольшую площадь, извозчиков там не оказалось. Растерявшись, она оглядывалась по сторонам, не зная, что делать. Неожиданно увидела изогнутую трубу, что-то вроде русского рожка, и краткую подпись: “Почта”. Зашла туда. Поздоровалась. За простой перегорожкой сидел седоусый старик, в ответ приподнявший шляпу.

— Что угодно, фройлян? — спросил прокуренным голосом.

— Мне нужно на ферму Штерна, — сказала она.

— О-о! — без удивления ответил почтальон, — это не ферма, а большое имение! Почему же вас не встретил их кучер?

— Я приехала неожиданно.

Старик поднялся, и только, наверное, тут разглядел, что девушка-то в особом положении.

— О-о! — опять как-то по-старинному удивился он. — Да я вижу, вам надо помочь? — Полюбопытствовал: — А вы откуда?

— Из России, — ответила Алёна.

— Бог ты мой! — воскликнул старик и даже пошатнулся. — И кем же вы им будете?

Алёнушка смутилась и впервые внятно сказала вслух:

— Я жена Вилли Штерна.

Старик так грохнулся на стул, что она вздрогнула.

— Вилли! Мальчик Вилли! Я же его знаю с колыбели! И вы — его жена!

Он как-то сразу переменялся, этот старик. Споро поднялся, взял большую сумку, вроде почтальонской, но другого вида, не похожую на русскую — немецкую, из толстой и коричневой блестящей кожи, объявил:

— Я вас отвезу! Мне надо развозить почту. В том числе и Штернам, и я с удовольствием отвезу вас. В качестве, наверное, доброй вести!

Он открыл перед ней дверцу в почтовой перегородке, они миновали одну, другую комнатку, вышли во двор почты, где стояла уже запряжённая в тарантас лошадь.

— Я ждал поезда, с ним пришли газеты и письма. Так что всё одно к одному! — радовался старик.

Колёса повозки протарахтели сперва по мощёной мостовой, потом съехали на грунтовую дорогу. Здесь уже было по-весеннему тепло, не то что в России. И Алёна пожалела Вилли. Как он там? Наверное, тоже потеплело и даже подтаяло, но снег-то ещё крепок. Она наклонила голову и даже застонала. Боже! Она подумала про Вилли, а не про Клаву и не про женщин, которые кайлом и лопатой грызут там землю. И не про маменьку. Про Вилли! Старик-почтальон спросил её:

— Вам плохо, фрау? — Он всё понял по-своему. — Ничего, ничего, фрау! Не бойтесь! Вы ведь сюда не за подарком судьбы, правда? — Потом глянул на её фигурку опять и хлопнул себя по лбу. — Старый дурак! Именно за этим! За подарком судьбы!

23

На краю леска, вдавшись в неестественно ровное и зелёное поле, стоял огромный каменный дом с пристройками. Был он трёхэтажным, но высоким, наверное, из-за множества пристроек, не казался. По укатанной дорожке, усыпанной чем-то красным, вроде тёртого кирпичика, они подъехали к крыльцу.

С него, улыбаясь, сходил высокий и крепкий человек, весьма при этом пожилой. Его нельзя было сравнить с почтарём — сильная фигура и уверенная поступь выдавали личность значительную и решительную. Но улыбался-то он почтальону:

— Что за вести ты привёз мне сегодня, дорогой Франц? — спросил он, вглядываясь при этом в Алёнушку.

— Я привёз вам важную посылку! — воскликнул усач. — Вот она перед вами, герр Штерн!

И показал на Алёнушку обеими руками.

Ну, да, всё так и было, как она представляла: Алёна сидела перед отцом Вилли. А он перестал улыбаться, сник, смотрел куда-то мимо своей невестки. На крыльце появилась худая и такая же высокая женщина с некрасивым, вытянутым лицом.

— Вот, — сказала ей, не оборачиваясь, хозяин дома, — и приехала к нам русская гостья!

— Русская! — ошарашено просипел где-то за спиной старик почтальон.

Алёна вышла из тарангаса. Она ещё в поезде думала, что сделает в первую очередь. И сделала. Присела, сделала книксен. Но попробуйте это сделать первый раз в жизни, без всяких репетиций. Вышло не так некрасиво, как глупо. Зато её успели разглядеть.

Красивая беременная блондинка стояла перед крыльцом большого дома. И нужно было сделать шаг вперёд и вверх, чтобы подняться на первую и широкую, как площадка, ступень крыльца.

Она это сделала. И остановилась вновь.

И опять на неё смотрели все. Теперь уже не только герр Штерн и его фрау, — Алёна знала, её зовут Эмма, — но и ещё какие-то, разом выскокившие из дома, персонажи: молодые и пожилые женщины, несколько мужчин и мальчик лет тринадцати. Белобрый, в коротких штанах на лямках, которые у нас носят малыши. Все смотрели на неё. Все её оглядывали. Даже рассматривали. А ей и умыться-то сегодня не удалось — так, побрызгала из бутылки водой в лицо, когда поезд подходил к станции.

Ни один из тех, кто вышел на крыльцо, не улыбнулся Алёнушке, только этот подросток. Все смотрели на неё напряжённо, даже испуганно. Все, казалось, чего-то ждали от неё. Однако первым заговорил герр Штерн.

— Наш сын Вилли написал нам о вас. И даже позвонил по телефону, что почти невозможно. Мы готовы принять вас. Но сейчас военное время. Поэтому вам придётся предъявить документы.

Алёнушка слушала его речь напряжённо, боясь не понять хоть малую малость из первых слов, но всё поняла, слегка вздохнула и полезла в свой саквояж, где лежали бумаги. Саквояж этот принёс Вилли и сказал, что дарит его фрау Алле доктор концлагеря, добрый, как он выразился, мальчик, который не раз осматривал её. И желает ей доброго пути.

Теперь этот путь закончился, ей пришлось поставить саквояж на землю, наклониться, потом неудобно присесть, чтобы раскрыть его и достать бумаги, включая толстое письмо сына родителям.

Беременная женщина, опустив голову, согнулась в три погибели, сверху на неё смотрели немцы, и со стороны это выглядело так, будто просительница какая-то униженно склонилась перед их судом. Ругая себя за неловкость, Алёна, наконец, разогнулась и протянула хозяину бумаги. Он внимательно изучил сначала справки, потом аусвайс, повертел перед собою письмо. Проговорил слегка растерянно:

— Фрау Алле Штерн...

При этих словах фрау Эмма покачнулась, опустила голову, к ней подбежали две девушки, взяли её под локти. А хозяин продолжал:

— Но где же ваши русские документы? Где бумага, что вы из России?

А вот к этому Алёнушка приготовилась. И этому научил её Вилли. Она опустила глаза и ответила:

— Это — всё!

Наступила растерянность, теперь уже герр Штерн, отец Вилли, не знал, что сказать. Потом нашёлся:

— Но скажите хотя бы, как вас зовут по-русски?

— Алёна, — по-русски проговорила она.

— Алюна... — повторил герр. — Алюна и Алле... Ал... Ал...

Потом он двинулся мимо Алёны к почтальону, взял у него пачечку бумаг и, возвращаясь обратно, кому-то кивнул. К Алёнушке подбежал пожилой мужчина, взял саквояж и показал рукой, — довольно доброжелательно показал, — что ей следует идти вперёд. Однако не вошёл вместе с ней в главную дверь, а круто свернул в сторону. Потом они долго следовали вдоль стены, затем сопровождающий открыл какую-то боковую дверь, и они

поднялись на второй этаж. Вошли в небольшую комнатку, почти наполовину занятую широкой железной кроватью с завитушками в изголовье, с толстой периной и высокими подушками. На подставке в углу стоял чудной белый эмалированный таз с цветочками по краям, такой же кувшин, рядом лежали сразу три полотенца: большое, поменьше и совсем маленькое. У окна — невысокий столик со скатертью, на нём — электрическая лампа с голубым абажуром.

— Сейчас, — сказал мужчина, — вам принесут горячую и холодную воду.

Алёнушка никогда не мылась из кувшинов и тазов, поэтому ей не хватило воды, тем более что принесли только почему-то только горячую и пришлось ждать, пока она остынет.

Ей бы хотелось в какую-никакую баньку, лучше всего — в ту, что построил папенька давным-давно, в их огороде: чёрную, старинную, где так вольно, ласково, а воды, если наносишь, конечно, хоть отбавляй. Но тут баню не предложили, поэтому пришлось уделить внимание — не всему телу — только самой главной его части, да подмышками ополоснуть, да по лицу пройтись. На голову воды не хватило.

Она напелескала на пол, нашла какую-то тряпку, и стала ею притирать, как вернулась девушка, приносившая воду. Была она похожа на хозяйку, такое же вытянутое лицо, и, оглядев комнату, влажный пол, сказала:

— Я Элла. Сестра Вилли.

И не дождавшись ответа, бухнула:

— А как это ты его подцепила?

— Я не подцепляла! — ответила Алёна.

— Как же он тебя выбрал? — не унималась Элла.

— У него был очень большой выбор, — попыталась уклониться Алёна.

— Где же это? — доискивалась Элла.

— В концлагере!

— В концлагере? — поразилась родственница. Только теперь Алёне пришло в голову это понимание. Ведь все эти немцы теперь её родственники!

— Значит, ты преступница, — ахнула Элла.

— Нет, — ответила Алёна.

— Партизанка?

— Нет.

— Воевала против нас?

— Нет.

— Так как ты оказалась в лагере?

— Приехали солдаты, забрали всю нашу улицу. И нас с мамой.

— А где твоя мама?

— Умерла в концлагере.

Настала тишина. Элла сидела на кровати, разглядывала Алёну, переодевшуюся в платье из саквояжа, конечно, смятое, но вполне приличное, голубое в полосочку.

— И он, — наконец проговорила она, будто только сейчас дошло это всё до Эллы, — нашёл тебя среди заключённых лагеря? И тебя спас? И...

Она кивнула на Алёнин живот, и та кивнула ей в ответ, дескать, да, правильно, это его ребёнок. Но Элла прибавила совсем другое:

— И ты стала немкой?

Алёнушка опустила голову. Настал момент, когда об этом её спрашивала немка. И тот же вопрос мог ей задать любой человек. Особенно русский, если она встретит русского. Но самое трудное — она бесконечно спрашивала об этом сама себя: “Ты на что идёшь? Кто ты теперь?”

И она могла, должна была мучить себя этим вопросом, истязать свою душу без всякого конца и края. И это было её главным делом, в конце концов! И вот — ей задаёт этот самый жёсткий вопрос не сама она, а посторонний человек. Немка. Незнакомая ей девица с неизвестными мыслями. То, что скажет она сейчас, в эту минуту, без сомнения, станет тут же известно в доме, куда она приехала рожать ребёнка. Своего ребёнка. Но и ребёнка Вилли. Она — русская, Вилли — немец, а кем будет их ребёнок? Алёнуш-

ка не знала, как это происходит по немецким правилам, но по русским национальность новорождённого в метрике записывают по матери. И этот Эллин вопрос не такой-то простой, каким кажется на первый раз. В общем, это такое домашнее предложение сменить национальность. Скажи только “да” или просто кивни — и всё!

Алёнушка всё стояла перед Эллой, смотрела на неё, сквозь неё, думая, что ответить, и это заняло уже несколько минут. Она чувствовала, что ей достаточно сказать ни к чему не обязывающее: “Не знаю”, — и Элла донесла бы эту её слабость родителям. Но даже Вилли не требовал ответа на такие вопросы.

Он просто любил её, этот Вилли, и отвергал правду, которая окружала его, — совершенно нетипичный солдат германской армии. И неизвестно, что это было: его сила или его слабость. А если слабость, то сейчас, в этот самый миг, сестра Вилли не должна обмануться. Чем бы это ни кончилось.

— Нет, — сказала Алёнушка. — Я русская.

24

Она предстала перед Штернами в большом нижнем зале, где горел камин. И хотя вдоль стен стояли книжные, как в библиотеке, шкафы, а на правой и левой стене от входа над этими шкафами висели две огромные горизонтальные и очень тёмные картины, где изображались сцены со множеством народа, Алёнушку всё-таки заворожил горящий камин.

Он был огромен, в него, не сгибаясь, вошёл бы человек, и ещё он оказался каким-то овальным, а камни нижней и верхней линии сходились на стене, образуя собой нечто вроде каменного глаза, в центре которого трепыхался огонь.

Этот глаз, едва только Алёна вошла в зал, словно бы принялся вглядываться в неё, гипнотизировать невыговоренным вопросом, обрамлённым каменным окружьем глазниц.

Конечно, она знала, что мать Вилли зовут Эмма, а отца Генрих. Они сидели в двух тёмного дерева, креслах справа от камина, и герр Штерн поднялся, когда Алёна вошла. У большого окна стояла Элла — вся семья, похоже, была в сборе.

По другую сторону камина находилась скамеечка, обитая тканью, и было бы в самую пору усадить на неё беременную Алёну, но герр Генрих стоял напротив неё и молчал. И это действовало на Алёну так, будто её вызвали на экзамен. Казалось, её не просто и не только рассматривают, оценивая, наверное, по каким-то здешним меркам, но даже мысленно раздевают.

— Всё, что произошло, — наконец сказал хозяин дома, — для нас неожиданность. И мы не одобряем действий нашего сына Вилли, — проговорил он так, будто зачитывал приговор. Важно переступив с ноги на ногу, он продолжал: — Но он наш сын, которого мы любим. А вы, как он утверждает, носите его ребёнка.

Эти слова — “как он утверждает” — герр Штерн произнёс с какой-то безразличностью. Но Алёнушка и не ждала от них ничего хорошего.

— Да и справка начальника лагерей о вашем браке весьма сомнительна, я полагаю...

Она опустила голову — всё в ней дрожало. Как-то непроизвольно она положила руку на живот, может, бессознательно успокаивала малыша, который живёт там и которого не должны касаться слова, которые говорят его будущей матери.

— Генрих! — негромко, но твёрдо проговорила фрау Эмма.

Он кашлянул и изменил тон:

— Вы привезли нам, — сказал он, — дитя Вилли. А он наш наследник. И он солдат. Он исполнил своё желание, и он на войне. Мы вынуждены принять его решение.

Только после этого он указал Алёне на скамеечку. Уселся сам в своё кресло. Дальше, будто их роли были заранее расписаны, говорила фрау Эмма.

— Вы будете жить в той комнате, где разместились сейчас. Вы освобождены от работы до тех пор, пока не родите. Рожать будете в этом доме, мы вызовем врача. Мы предоставим вам еду, которой питаемся сами. Но нам удобнее обедать в своём привычном кругу.

Она подумала и неуверенно прибавила:

— Не обижайтесь.

Тут зашевелилась Элла.

— Да, да, — сказала мать Вилли, будто что-то вспомнила, — а теперь вас проводят в настоящую баню. И нам придётся прожарить всё ваше бельё.

Вот этого слова — прожарить — по-немецки Алёна не знала. Ей показалось, что бельё хотят сжечь, она встрепенулась, но всё-таки ничего не сказала. Элла улыбнулась, догадавшись. Раздельно, как учительница, проговорила:

— Не сжечь. Но — прожарить. — Вздохнула и повернулась к матери. — А может, и сжечь? Неужели не найдём что-нибудь подходящее?

Так что не сказав ни слова в объяснение, не получив ни одного вопроса, на который можно было бы ответить, Алёна пошла мыться — уже по настоящему, с кипятком, паром и сменой всего, что на ней было.

Баня Штернов находилась в подвале, матово сияла медными баками, стальными крышками, латунными кранами. Вода лилась мощной струёй, и мыло здесь имелось в огромном количестве и разной формы — особенно её поразило жидкое.

Такое же жидкое, только чёрное, иногда перепадало и в концлагере, но его доставалось помалу и оно имело отвратный запах. А здешнее пахло хвоей, лесом. И Алёна перелетела за тысячи отсюда вёрст, в домик, где она родилась, который они с мамёнкой оставили совсем одиноким, пустым, открытым, едва прижав палкой входную дверь в ограду.

Что с ним теперь? Жив ли дом, оставленный в одиночестве, хотя хозяин его покоится неподалёку, хозяйка лежит посреди неизвестного поля, а дочь оказалась во вражеском царстве-государстве, чтобы — что? Выжить? Родить дитя? И предать, предать свою память, свой дом в лесу, где после дождя пахнет точно такой же духмяной хвоей.

25

Они были страшные чистюли, эти Штерны. Абсолютные аккуратисты и педанты. Сказанное у них не расходилось с делом. Откровенно говоря, эти правила, никем, впрочем, не писанные и даже не проговорённые, нравились Алёне. И ни к чему ей не приходилось привыкать по-новому. Всё было старым.

В концлагере просыпались по команде, умывались по команде, строились, получали пищу — всё чётко следовало одно за другим, и расслабилась Алёнушка только взапери у Дагмар, в той деревянной клетке, в которую можно было залететь, но вылететь из неё... В той клетке птичка Алёнушка билась, гнула крылышки свои, тосковала, кричала больным голосом, конечно, про себя, не зная, как быть. Как быть, не знала она и теперь. Но сейчас в клетке жила уже не желторотая птичка, а птица со сломанными крыльями: отсюда никуда не улетишь, не скажешь: «Хочу домой!» — не рванёшь в высоту, к свободе... От Штернов не удерёшь, но у них и не выживешь. С их неколебимыми достоинствами.

Почему на них ни чуточку не походил Вилли? Ведь его родители были холодными, почти ледяными людьми. Ни фрау, ни даже Элла не расспросили Алёну о её жизни. Похоже, немногие слова Эллы о том, что Вилли нашёл её в концлагере, предупредили их любопытство. И они с трудом скрывали свою брезгливость. Новую родственницу, — а хочешь, не хочешь, это было так, — они ни разу не пригласили за свой стол. Хотя совсем ещё недавней лагернице Алёнушке не стоило жаловаться: ей в комнату на подносе приносили всё, о чём можно было только мечтать — и масло, и сыр, и разного рода мясо, вплоть до паштетов, и вкусно приготовленный суп, не говоря уже о фруктах. Будто никакой войны нет.

Алёнушка удивлялась этому баловству в одиночестве, пока к ней во время её обеда не зашёл тот мальчишка в коротких штанишках на лямках — Готфрид, младший брат Вилли.

Никто их не предстал друг другу, да и обменялись-то они с самым младшим и самым приветливым членом штерновской семьи не больше, чем двумя-тремя фразами. И вдруг он зашёл к ней. Присел на Алёнину пушистую кровать — в комнате был всего один стул, — разглядывая, как она ест, а Алёнушка как раз намазывала на хлеб печёночный паштет. Сделав бутерброд, она протянула его мальчику.

— Нет, — ответил он, неожиданно и наивно открыв Алёне глаза на хозяйскую щедрость. — Нет, — проговорил Готфрид, — это требуется ему! — и показал пальцем на Алёнушкин живот.

Она положила кусок на тарелку, опустила голову. Вся она запылала от этой простой истины. И кто её открыл? Мальчик. Подросток, который слышал это от взрослых. А она просто глупое, ничего не понимающее создание.

Готфрид поёрзал на перине и убежал, не отказавшись всё-таки от яблока. Алёна подошла к зеркалу и посмотрела на себя. Странное дело: женщины, ждущие ребёнка, часто становятся некрасивыми, покрываются пятнами, лица их обтягиваются кожей и как-то стареют. Но Алёнушка нарушила это правило. Она давно распростилась с лагерной худобой. Тело её обрело упругость — особенно грудка, словно приготовляясь вскормить новую жизнь. Она будто налилась живой силой, забыла страдание. Глаза обновились голубизной, а светлые волосы, вобрав солнце, сияющее над головой, засветились похожим на него сиянием. Как будто в старом, толстостенном доме с небольшими окнами, куда проникает не так-то много света, назло сумраку расцветал огонь небывалой яркости и красоты.

Алёна не знала дома — её не приглашали далеко в его нутро. Обычный её путь пролегал по лесенке с улицы на второй этаж — к себе. Она выходила на улицу, медленно шла вдоль стены дома, а потом по зеленеющей лужайке в светло-синем, с чужого плеча, перешитом под её нынешнюю фигуру широком платье.

Волосы её развевал ветер, да и платье развевалось, как синий парус на зелёном фоне чужого, но всё же земного пространства. Глядя на неё со стороны, можно было только удивляться, спрашивая — что это, кто это, как это? — и, не слушая ответов, любоваться чистой красотой молодости и грядущего материнства.

26

Один только раз прервалась эта изоляция.

Вечером к ней зашла Элла и предложила завтра прокатиться по имению.

— Посмотришь наше хозяйство, — сказала она, — немножко развеешься.

Наутро Алёна вышла, одевшись по-дорожному. Хотя солнце и грело, она надела поверх платья демисезонное пальто — просто на всякий случай. Элла встретила её перед домом на жеребце. Одета в брюки, похожие на солдатские галифе, в чёрном жакете и в шляпе, похожей на мужскую, она неплохо выглядела — этакий полувоин, уверенно сидящий в седле, только вместо сабли — гибкий хлыст. Рядом стояла понурая лошадка, запряжённая в двухместный возок, а вожжи держал Готфрид.

— Садись, фрау Алле! — сказал он как-то озорно. — Я буду у тебя кучером!

На крыльце, перед которым всё это происходило, никого не было, но когда отъезжали, Алёна заметила в окне второго этажа женскую фигуру, которая резко отпрянула в глубину комнаты.

Сначала они прокатились по красной парковой дорожке, потом выехали на просёлок. Впереди гарцевала Элла, и земля из-под копыт её коня летела навстречу повозке. Готфрид натягивал вожжи, притормаживая, увеличивая расстояние повозки от наездницы. Похоже, паренёк знал своё дело, и Алёна похвалила его.

— Это ещё что, — ответил мальчишка. — Я умею и верхом! Умею запрягать лошадей. И верховых, и в упряжь.

— Наверное, без этого нельзя в деревне? — спросила Алёна.

— А ты где жила? — спросил любопытный мальчик. — В большом городе?

— Нет! — рассмеялась она. — В маленькой деревушке.

— Тоже умеешь запрягать?

— У нас была корова. Я доила её.

— Нормально! — по-взрослому ответил Готфрид. И ещё удивил: — И много у тебя коров?

— Была одна, её немцы чуть не забрали, — ответила Алёна и споткнулась.

— Какие немцы? — спросил пылливо мальчишка.

Она спохватилась, да поздно. Надо было как-то ответить. Она сказала, чуть подумав:

— Военные. Ваши.

— Ваши? — удивился он. Усмехнулся: — Не твой?

— Нет, не мой, — ответила она, и продолжила: — Забрали почти всех коров, тут же их убили.

— А людей? — спросил Готфрид.

— Забирали в концлагерь.

— И там тебя подобрал Вилли? — повторил чьё-то словечко этот мальчик.

— Нашёл, — ответила Алёна, а помолчав, согласилась, — а может, и подобрал. Я погибала.

Дальше они ехали молча. Коляска плавно скатывалась в неглубокие ямины, медленно выкатывалась из них, и горизонт то сужался до ближнего леса, то вдруг отодвигался, открывая чёрный лес вдали.

Чтобы прервать молчание, она спросила:

— А когда ты меня свозишь к Рейну? Вилли так о нём тоскует. Это большая река?

— О! — восторженно воскликнул Готфрид. — Про Рейн нельзя рассказывать. Его нужно просто увидеть. Конечно, свожу!

— Элла хочет показать тебе восточных рабочих, — неожиданно и совсем по-взрослому проговорил Готфрид. — Она хочет, чтобы ты при ней поговорила с ними по-русски.

— Зачем? — вскинулась Алёна. — И почему не предупредила?

— Хочет сделать тебе сюрприз, наверное? — пожал он плечами.

Они миновали один перелесок, другой и подъехали к зданию, похожему на свинарник. Да это и был свинарник. Изнутри барака несло хрюканье и раздавались какие-то голоса. Элла, ускакавшая далеко вперёд, теперь стояла возле барака, похлопывала хлыстом по блестящему сапогу и говорила кому-то:

— Шнель! Шнель!

Алёна хотела было ей что-то сказать, хотя бы поговорить вначале, но времени для объяснения не осталось.

Из свинарника вышли молодые женщины в одинаковых резиновых фартуках, которые делали их похожими друг на друга. На ногах у них было что-то вроде калош, надетых на носки или вовсе на босу ногу. Головы были обвязаны платками едва ли не по самые глаза. И это лишало их возраста — будто сёстры рядом стоят.

Держались они поближе друг к другу, выглядели покорно, даже смиренно, словно были обучены вести себя тихо, мирно, без признаков беспокойства.

— Этих работниц привезли с востока, — подошла Элла к Алёне, всё ещё сидевшей в коляске. — Они говорят на славянском языке, но не по-польски. Поговори с ними, развлекись...

Она повернулась к этим женщинам, держась за коляску, и продолжила:

— Посмотри на них! Типичные унтерменши!

— Что это? — спросила Алёна. Она впервые слышала такое слово.

— Недочеловеки!

Алёна сжалась. Она боялась этих женщин. Она знала, что они скажут, если узнают, кто она. А тут ещё Элла с её уверенными повадками, демонстративным превосходством, без всякой жалости.

— Разве же бывают недочеловеки? — удивилась она довольно громко, конечно же, по-немецки.

И вдруг ей ответили — не по-русски, но очень близко к нему:

— Быва-юдзь! Апче как бываюдзь!

Говорила одна из свинок, стоявшая в центре. Самая, наверное, старшая, хотя разобраться, кому сколько лет, Алёне было не под силу. Она сошла с коляски, приблизилась к свинкам. Вздорная мысль явилась к ней, пока она одолевала эти шажки, чтобы подойти к женщинам. А они — все до единой — не на лицо её уставились, а на живот.

— Это жена моего брата, — повысила голос Элла, чтобы её все услышали.

— Откуда вы, женщины? — спросила по-русски Алёнушка, едва сдерживая слёзы. Ей показалось — она снова в концлагере и подошла к своему отряду.

— З Беларусци! — ответила всё та же, видать, всё-таки старшая среди них. И без передыху и без всякого смущения спросила:

— А ты, дзеточка?

— Из России.

— Из Москвы? — восхитилось сразу несколько голосов.

— Нет, — ответила Алёна, с трудом понимая, что сказать. Бухнула невпопад: — Из концлагеря...

— Не! — замотала головой старшая, и женский строй зашептался, рассыпался, чуточку разошёлся по флангу. — Оттуда только сюда умолить можно.

— Или в печку! — прибавил кто-то.

— Во-во! А ты... Ишь, какая...

— Верьте — не верьте, — покачала головой Алёнушка и повернулась, чтобы сесть в коляску.

— Тогда, значит, подстилка немецкая, — проговорил ей вслед чей-то жёсткий голос. Она остановилась. И эти женщины за спиной, видать, испугались. Та, старшая, цыкнула:

— Дурная ты голова! Язык покоя не даёт! А если деваться некуда!

— Подеваться всегда есть куда! — заспорил жестокий голос. — Небеса велики! А совесть мала!

— Не завидуй! — крикнула старшая. — Не догонишь!

Когда ехали обратно, и Готфрид, и Элла не раз спросили, что такого наговорили Алёне эти унтерменши. Элла предлагала:

— Хочешь, скажу управляющему! Их выпорют!

Алёна не плакала, нет. Наоборот, глаза будто высохли и горели от сухости. Ей следовало умыться. Вода была в доме и была в свинарнике, конечно, но здесь, на обратном пути, ни ручеек не протекал, ни родничок не бился. Ей стало жарко. Готфрид взялся поторавливать лошадку.

Алёне стало больно. По ногам что-то полилось. Она испугалась и закричала, и Элла приказала брату, чтоб он гнал как можно скорее. Она же поскачет через поле, чтобы сократить расстояние. Из города вызовут доктора.

И вот тут, пожалуй, Готфрид оказался просто мальчишкой. Он принялся хлестать свою лошадку, а та, сперва нехотя, но постепенно войдя в азарт, вдруг побежала, понеслась, и когда недалеко от имения началась гряда ложков и рыгвин, и коляска принялась то взлетать, то сваливаться вниз, Алёнушке стало совсем невмочь, и она закричала, напугав мальчишку и подхлестнув лошадь.

Ребёнка едва спасли. Акушер, приехавший довольно быстро благодаря Элле, кивал головой, восхищался младенцем и поражался: ещё чуть-чуть, какой-нибудь час, даже полчаса, и ребёнок мог бы умереть.

Младенцем оказалась девочка.

Это был март того года, когда кончилась война. И с рождением Лизаньки вся жизнь понеслась вскачь, как там, по дороге от свинарника к усадьбе, когда мальчик, правивший лошадей, не смог уже больше сдерживать её. Во-первых, у неё не было молока. Во-вторых, хозяин имения страшился прихода русских войск. Но пушки гремели где-то на западе, и он радовался этому грохоту. Впрочем, Алёна не говорила с ним об этом.

Всё её существование было посвящено Лизаньке, её купаниям, прогулкам с ней по кирпичной дорожке перед усадьбой и, главным образом, её кормлению. Почти сразу привели кормилицу. Её грудью, подумала Алёна, можно накормить целый детский вывозок, если бы такое было возможно. Но поначалу старшие делали всё, чтобы как следует содержать юную маму. Её с дочкой перевели в другую комнату, поближе к господским покоям, с высокими потолками и широкими окнами, чтобы было больше солнца и воздуха. Ей приносили много коровьего молока, воду, даже соки — всё надеялись, что молоко появится. Вот уж когда Алёнушка позавидовала кормилице Грете и посетовала на свои маленькие грудки. Молоко появилось, но его было так мало, что Лизанька без конца требовала добавки.

Гуляя с девочкой — на руках или с коляской, которую достали с какого-то чердака и протёрли до блеска, — Алёнушка часто первой встречала старого почтальона. Усач был неизменно приветлив, обращался к ней исключительно как к фрау Штерн, но не забывал, что она из России, хотя и сомневался, что она русская.

— У вас живёт много немцев, фольксдойче, — сказал он ей однажды. — Наверное, вы из них. И дай вам Бог всяческих удач.

Она отшучивалась, говорила, что просто учила немецкий язык в школе, но старик не верил, отвечал:

— Как хотите! Но то, что говорю я, — лучше. — Будто настойчиво что-то подсказывал ей.

И передавал ей почту: газеты и деловые бумаги на имя герра Штерна, которые Алёна, не вступая в контакт со Штерном, укладывала на специальный столик для почты при входе в каминный зал. Ей даже не приходилось входить в то устрашающее помещение с камином-глазом, всегда вззирающим на всякого, кто оказывался там, и с тёмными продолговатыми картинами над книжными шкапами, где нарисованы толпы о чём-то спорящих людей.

Почтальон Франц воевал на прошлой войне и читал, пользуясь своей службой, газеты, которые продолжали выходить. Получалось так, что он излагал доброжелательным слушателям свои соображения, смешанные с правдой. Это он сказал, что русские освободили Польшу и воюют в Германии. Известия старика удручали хозяев, но однажды он произнёс, ничего, видимо, уже не страшась:

— Я всегда говорил, что мы зря идём на Восток.

Топтался, похмыкивая, с кем-то споря.

— Уж если он так хотел, мы и без того заняли всю Европу. Могли бы жить себе припеваючи эту тысячу лет!

— Кто — он? — спрашивала Алёна.

— Фюрер! — удивлялся ей Франц.

Но однажды, в марте же, в самом конце месяца, Франц подогнал свою лошадку, привязал поводья к сиденью и, издав кивнув фрау Алле, пошёл мимо неё к входу в дом. В руке у него были газеты и ещё что-то. Странно вёл себя нынче почтальон.

Но Алёна гуляла с Лизанькой на руках, без коляски на этот раз, и она пошла дальше по красной полукруглой дорожке, улыбаясь солнцу. Потом услышала, что кто-то в доме протяжно закричал. Такого никогда не было в этой усадьбе, по крайней мере, пока здесь жила она, и Алёна встревожено повернула к крыльцу.

В доме слышались громкие голоса, потом хлопнула дверь, из дома вышел Франц, надевая шляпу, он был весь покрасневший и какой-то вздрюченный.

— Что случилось, герр Франц? — тревожно спросила она.

Он будто споткнулся.

— О-о! Погиб Вилли. Ваш муж, фрау! Но их сын, понимаете! — и он ткнул большим пальцем назад.

Он больше ничего не сказал, этот странный Франц. Отвязал вожжи, взгромоздился в коляску и уехал. А Алёна всё это время прижимала к себе Лизаньку. Наверное, крепко прижимала, потому что девочка её, спокойно спавшая до тех пор, вдруг закричала и заплакала. Алёна села на ступень широкого крыльца, уткнулась лицом в нарядный свёрток — в свою дочь.

Они плакали и плакали — и мать, и дочь, — но к ним никто не подходил. Да они и не ждали никого. Лизанька по неразумению младенческому, а Алёнушка — заглянув в обрыв.

Разве не знала она о нём? Конечно, знала! Ждала приближения к нему, но всеми силами старалась отодвинуть это знание и это приближение. Так часто поступает приговорённый к смерти человек. Замученный тяжелой болезнью, например, он не верит до последнего дыхания в свой конец, полагая это недоразумением, выход из которого, конечно же, где-то есть, просто его никак не найдут, но найти можно!

Но и жизнь!.. Чем она лучше смерти в некоторых, совершенно обыкновенных с виду случаях? Вилли нет — и что делать теперь ей?

Она не знала ничего о своём грядущем. Что будет с Лизой? И что будет с ней? Это были до удивления простые и совершенно безответные вопросы: кто она? И — зачем она? Она сидела, наверное, целый час, пока Лизанька не проголодалась и не заплакала снова.

Алёна достала грудь, дала её девочке. Та недолго почмокала и заплакала снова. Мать помассировала свою маленькую грудь, попробовала сцедить молоко в сторону, но его не было. Она перевернула дочь к другой груди — молоко там было. Но его оказалось очень мало, и Лизанька снова заплакала.

28

Вот с такой стремительной скоростью, как снежная лавина с крыши в её детстве, полетели дни и события.

Нарочно не придумаешь! Но, может быть, самым непереносимым оказалось молчание. Ни в тот день, ни позже ни фрау Эмма, ни герр Генрих, ни Элла не подошли к фрау Алле Штерн и не сказали ей ни слова. Только Готфрид однажды пришёл в комнату Алёны и просто постоял у окна, время от времени вытирая кулаками слёзы.

Пришла кормилица, Лизанька успокоилась, и Алёна приняла решение выйти к старшим.

Возле камина собралась вся семья, и Алёна произнесла заранее обдуманную фразу:

— Что теперь будет?

Наверное, она выбрала неправильные слова, наверное, нужно было выразить сочувствие или просто заплакать. Но ведь Вилли был её мужем и отцом её дочери, и разве сама она не могла рассчитывать хоть на какое-то сочувствие при таком известии?

Но герр Штерн ответил ей сухо:

— Что-то будет.

С минуту она стояла в каминном зале. Вернулась в свою комнату. Совсем не аристократически вытирая слёзы рукавом, она смотрела, как Лизанька с жадностью сосёт чужую, разбухшую от молока грудь. Это было глупо, конечно, но Алёнушке показалось, что даже крохотная дочь предаёт её в эту минуту.

Опустошённая, она бродила возле дома, и никто никогда не спохватывался, где она и что с ней. Она возвращалась в дом, усердно пила коровье молоко, пила много воды, ела жидкую пищу, следовала всем правилам, которые дал ей вызванный из города знакомый доктор, принимавший роды, но ничего не помогало. Не очень-то зрелый организм, кое-как управившись с родами, не мог, похоже, придти в себя после всех потрясений. А может,

в чём-то другом ещё было дело? В неведомом и тайном противлении выпавшей судьбе?

Её по-прежнему кормили одну, по-прежнему блюдо, которое доставлялось, было достаточным и полезным, но молока не было — кормилица давала грудь Лизаньке не только днём, в положенные часы, но и по ночам. Она входила ночью с лампой, не спрашивая Алёну, брала из кровати крошку, клала её себе на колено и давала своё молоко. Лизанька упоённо чмокала. И получалось, что Алёнушка была здесь совершенно лишней. Да, весь день она люлюкалась с дочкой, носила её на руках, гуляла во дворе, но накормить — не могла!

Ни хозяин усадьбы, ни мать Вилли, ни Элла не разговаривали с Алёной. Молчание опускалось всякий раз, когда она просто приближалась к ним. Алёнушка чувствовала, что снова подступает к неведомому краю. Вернее, её подводили к обрыву вот эти люди. Но что же за краем? Она не понимала.

До имения дошли вести, что английские и американские самолёты жестоко бомбят города, а бомбы, как известно, своих жертв не выбирают. Она поняла, что боится этих налётов точно так же, как все остальные Штерны, то есть немцы. Выходило, русские с немцами заодно? И кто поймёт, что она за Лизаньку страдает!

Это были смутные дни опасности, не уходящей ни на час: сначала город сильно бомбили самолёты, но их эти бомбёжки не задели, потом начался артобстрел с западной стороны городка.

Один снаряд долетел и до усадьбы, взметнув красивую кирпичную дорожку перед домом. Всё семейство вынуждено было спуститься в подвальную баню, где сияли медные, латунные и стальные устройства. Сидели тихо. Опять молчали. И было ясно, что молчат из-за фрау Алле. Изредка капала и громко шлёпалась в таз капля из блестящего крана. На улице было тихо, снаряды больше не рвались. Алёна ждала, что здесь, а не в парадном каминном зале, с огненным оком, взирающим на всякого с беспристрастием вечности, произойдёт очередное разбирательство с ней. Но оказалось, оно уже давно совершилось. И всё решено. Хотя исполнителям ещё до конца не ясно, как его осуществить.

На том конце города, откуда шли союзники, стрельба быстро стихла, а наутро приехал неизменный почтальон Франц, который газет не привёз, — они перестали выходить, — но сообщил герру Штерну, не выходя из коляски, что город сдан американцам, и они уже расхаживают по улицам. Однако у них в имении пока никто не появлялся. Готфрид, между прочим, сказал Алёне, что свинарки сбежали с работы и свиней некому кормить: это большая беда. Алёна кивнула ему, соглашаясь.

Совсем скоро Франц сообщил, что война кончилась. Герр Штерн будто окаменел. Готфрид как-то сказал Алёне, что у отца в спальне, конечно, есть радиоприёмник, и он знает, что происходит в мире. Так что известия Франца хозяин усадьбы принимал просто как подтверждение собственных сведений. Но теперь он окаменел. Никто ничего не знал и не понимал. Особенно Алёна.

Она плохо спала, плакала по ночам, всё валялось у неё из рук. Думала о всяких разностях, пробуя разобраться в себе, в том, что произойдёт дальше, и как ей быть. Думала она и про Вилли, которого больше нет. Может быть, больше всего думала она о нём.

Теперь всё конечно, его не существует, может, как маменьку, его оставили на неизвестном поле, в лесу, засыпали в окопе? И любила ли она его? Жалко ли ей Вилли? Ведь он был первым и единственным её мужчиной, от которого она родила дочь, — выполнила его желание, однажды им выговоренное: он хотел, чтобы у него было продолжение. И вот оно есть. Она сдержала слово. И что бы там ни случилось дальше, Лизанька не только продолжение Вилли, но и её самой. В этом всё дело...

Но почему же так холодно было на сердце? Что-то будто выгорело в ней. Осталась лишь какая-то копоть. Она родила дочь, она исполнила слово, данное — кому? Любимому? Она не знала, не чувствовала этого. Но ведь и не насильнику же!

Там, в концлагере, он, немецкий солдат, враг, захватчик, мог поступить совсем по-другому — да никто и не ждал от него деликатности в аду. Но он повёл себя, как человек, и Алёнушка, совсем девчонка, оставшаяся одна на краю жизни, обернулась к нему за спасением. Но за любовь?.. Сомнительно, чтобы такое чувство и в таком месте могло бы быть надежным... Это же концлагерь...

Говоря правду, Вилли был близок ей, но не стал родным — всё противилось этому: и время, и место, и...

Не бывает любви между врагами! Вот ведь что!

29

Недели через две после капитуляции милый Франц привёз герру Штерну газету на немецком языке, выпущенную оккупационными войсками. Ещё через несколько дней хозяин на повозке, запряженной младшим сыном и с ним же в качестве кучера, уехал в город. Ещё через пару дней утром, накормив Лизаньку, кормилица взяла её в охапку и молча вышла из комнаты.

— Куда ты? — слабо спросила Алёна, не предполагая ничего дурного и думая, что та отправилась прогуляться с дочкой по каминному залу. Так уже случалось не раз.

Но она не появилась ни через четверть часа, ни через час, и Алёна решила выйти ко всевидящему оку. Там была в сборе вся семья. Кроме Готфрида и, понятное дело, кормилицы с Лизанькой. Алёна только приготовилась задать вопрос, как её опередила хозяйка.

— Мадам, — почему-то выбрала она французское обращение, — когда вы приехали сюда, с вами говорил герр Штерн. Теперь это поручено мне.

До Алёнушки не дошло, что происходит. Не сразу дошло.

— Итак, — сказала мать Вилли, — война кончена. Наш сын погиб. Вы выполнили своё обязательство — родили его дочь.

Она помолчала, то ли обдумывая, как продолжить, то ли отдыхая.

— Теперь вы свободны. Все граждане других стран, так или иначе интернированные в Германию, возвращаются домой. Но вы приехали сюда по своей воле. Вы свободны. Мы поможем вам вернуться на родину.

В этом месте Алёнушка слишком торопливо возликовала — а ведь такое приходило в голову и ей, только она не знала, что это возможно.

Но главное было ещё впереди.

— Однако, — сказала фрау Эмма, — вы не можете быть матерью Лизы. Вы не можете её кормить, мы подготовили справку от врача. Вы ещё несовершеннолетняя, не так ли? Значит, по закону над вами требуется установление попечительства. Надеюсь, вы не захотите этого? И наконец...

Она не смотрела на Алёну. Не потому, что это было ей неприятно, неудобно, нехорошо. Она, эта дама с вытянутым ликом, как и её близкие, не собиралась отвечать за то, за что отвечать не полагается. Девочка Лиза — последнее напоминание о сыне, и позаботиться о ней им велит сам Бог. А распорядиться судьбой чужой им женщины, незваной, непрошеной, подкинутой — пусть даже и сыном! — сейчас самое время. Эта властная фрау хотела сказать ещё что-то. Но ведь и так приговор уже вынесен. Наконец...

30

Алёнушка плакала — ничто не помогало. Она подняла со дна своей памяти все известные ей немецкие слова, означающие доброту, милосердие, справедливость, совесть — всё было бесполезно.

И герр Штерн, большой, представительный, солидный, даже монументальный и, конечно, сильный человек, опустился до того, что схватил Алёнушку, зайдя сзади, сжал ей горло и потащил не в её комнату, а в туалет при входе, в комнатушку без окна и зеркала, безопасное, в общем, помещение, может быть, и в других случаях используемое для подобных же целей. И закрыл на замок снаружи.

Алёна напрасно стучала кулаками в дверь, обдирая их до крови, взывала к каждому поименно: “Фрау Эмма! Герр Генрих! Фройлян Элла!”. Даже мальчика Готфрида звала, надеясь на его мальчишечье доброе сердце. Всё было напрасно.

Часа через полтора дверь открылась. За ней стояли два американца в пилотках и желтоватых куртках. Один кое-как говорил по-немецки.

— Мисс Никитина? — спросил он, и Алёна похолодела. Откуда они могли это знать?

Она вышла из позорной каморки. В зале никого не было. Дальше она увидела пустое крыльцо и джип, стоявший на красной, недавно починенной дорожке. Говоривший по-немецки американец вежливо открыл ей заднюю дверь и сам сел рядом. Другой устроился за рулём. Машина тронулась.

Когда съезжали с красного полукруга, с этой, похожей на подкову, дорожки из тёртого кирпича, на ней, с другого края, у въезда, появилась бричка почтальона Франца.

Он увидел джип, остановил повозку, встал на ней в полный рост. Потом сдёрнул шляпу и приложил её к сердцу. Крикнул сдавленно, всё поняв:

— Фрау Штерн! Фрау Штерн!

— Вот и закатилась твоя Штерн! — ответила ему вполсилы Алёна.

За эти полтора часа, пока плакала она в туалете без окон, пока кричала, умоляя семью Штерн вернуть ей дочь или вернуть её дочери, она лишилась почти всех сил, голоса и слёз. Голова была не пуста — она заполнилась тяжелой ватой. Алёна не могла ни о чём думать, ничего не могла понять. Не знала, какой у неё теперь остался смысл в жизни. Американец, сидевший рядом, будто услышал её.

— Бросьте, — сказал он, — вам ещё только шестнадцать лет. Война кончилась. И всё у вас впереди!

Он вертел в руках папочку, листая её. Предложил:

— Хотите?

Она протянула слабую руку. Сквозь слёзы стала перелистывать свою собственную жизнь.

Известный ей аусвайс на имя Алле Штерн. Справки из концлагеря, принесённые Вилли. И бумага, подписанная тремя свидетелями — Генрихом, Эммой и Эллой — и заверенная множеством печатей на немецком и английском языках — о том, что несовершеннолетняя Никитина Алёна Сергеевна была интернирована в Германию и находилась на сельхозработах в поместье Штерн под именем Алле Штерн.

В этой же бумаге, отдельной строкой, совсем не относясь к предыдущему тексту, имелась запись: “Никитина направлена в имение Штерн (Дуйсбург) из концлагеря номер такого-то. Русских документов не имела”. Алёна вернула папочку американцу и через какой-то час оказалась в фильтрационном лагере.

31

Война вновь дохнула на неё своим зловонием.

Будто из чрева, изо рта с гнилыми зубами исходил дух непереваренной пищи. А пищей этой твари — без лица, без образа, без смысла — были виновные мерзавцы и невинные их жертвы; порушенные храмы и неосвящённые могилы с тысячами людей, живём вкопанных в землю; уничтоженные высокие творения духа, вроде взорванных старинных дворцов и мостов, сожжённых картин, книг и их создателей, даже прах которых, давно ушедших, вывернут из земли на глумление, как насмешка над самой волей Божьей давно опустевшей души, посмеившей нарушить покой усопших.

Да что там! И сама земля-то, последнее прибежище и правых, и виновных, была искорёжена, расплосована, растерзана и убита бесстрастной и бессмысленной яростью железа, начинённого огнём.

Не только люди, разделившие себя на враждующие стороны, убивали друг друга, не вспоминая о жалости, хотя Бог наградил их душою, и были

они одушевлёнными тварями. Но даже силы неодушевлённые сражались друг против друга: земля и огонь, жара и холод, железо и вода.

В мирные времена уступающие друг другу, сочувствующие желаниям и даже требованиям противоположных стихий, в годы битвы они забывали о смиренных уступках, превращая взаимность в непоправимость сокрушения, в многолетние шрамы, не зарастающие десятилетиями. Как, к примеру, много лет спустя живы в русских лесах окопы, открытые для людей, готовых сопротивляться.

Алёнушке указали место в фильтрационном лагере, и это оказался точно такой же деревянный настил в бараке — как в двух лагерях, где она мыкалась прежде. Конечно, не было окриков, строя, хватало мыла, да и краны в умывальнике ходили на настоящие, человеческие. Но люди! Эти люди были из войны, из концлагерей, из поместий вроде штерновского, с работ, где трудно не надломиться, особенно немолодым.

Алёна, подавленная тем, что у неё отняли дочь, мало с кем говорила, но всё же слушала, о чём толкуют вокруг. Будто все эти люди были давным-давно знакомы, и вот встретились после долгой разлуки, чтобы рассказать, какие беды с ними сотворились. Никто не говорил про свои радости — их не было. Все говорили про горести. Радостным было освобождение, известие о том, что кто-то где-то из встречных и поперечных жив и что жив тот, кто говорит об этом, — такова была очевидная и самая главная радость бытия.

И ещё одно заметила Алёна. Люди говорили о смертях и гибели людей как-то очень уж просто. Иногда даже торопливо, будто бы стараясь поскорее забыть о них. Много говорили — даже спрашивали или вопросительно обсуждали — про дом свой, про страну, про землю, где жили. Как-то там? Что уцелело? Сколько теперь придётся туда добираться? Пугали друг друга слухами, что в России, под которой подразумевался весь Советский Союз, устроены концлагеря для тех, кто был в плену или на работах в Германии. И в то же время восхищались Россией.

Алёнушка не выходила из своего затворничества. Рассказывать про Лизаньку, да и про себя она опасалась — её сюжет не вызвал бы сочувствия у скелетов, пока что улыбававшихся ей. Почему они не удивятся, что она прилично одета и не измождена, как другие?

Но Лизанька, Лизанька!..

Алёнушка подходила к американскому начальству, просилась, чтоб её под любое обязательство отпустили к ребёнку. Всякий раз её слушали разные чины, быстро уясняли, что она русская, тут же менялись в лице и предлагали писать заявление о выезде на Запад, — но желательно по адресу, к кому-то. Алёна не слышала, не понимала этого. Она просилась выйти из лагеря, но никто не внял её мольбам.

Наконец, всех, кто был из России, погрузили в машины и отвезли на станцию. Она пыталась сбежать, но их охраняли американские солдаты. Парни улыбались, но не позволяли отступлений от правил и слабостей. Все — в теплушку. Точно такую же, какими возили пленных в Германию. Новых ещё не придумали.

В этой теплушке ей подвалило небольшое счастьеце. Как только тронулись, к ней подошла немолодая женщина и спросила ласково:

— Нэ узнаёш мяня, фраушка?

Лица Алёнушка не вспомнила, а вот голос — да, и речь белорусскую, улыбающую возле свинарника, конечно же, признала.

— Ой, — сказала она, — вы из свинарника, тётя?

— Из свинарника, дзеточка! Из проклятушшего! А ты-то! Ты!

Они обнялись, и самую чуточку Алёнушке полегчало. Неизвестно и почему.

Женщину звали Поля, Полина Степановна, и была она, как выяснилось потом, чуть помоложе Алёниной мамы Пелагеи Матвеевны. Все её подружки по свинарнику отправились домой предыдущими эшелонами. Полину Степановну задержали, раза три предлагали перебраться в Бельгию, Нидерланды, Люксембург и даже во Францию — она оказалась не просто свинаркой, а ветеринаром, специалистом именно по свиноводству, и была до войны

главным ветеринаром в государственном совхозе. Полина Степановна заметила, что Алёнушка стала сжиматься, напряглась, и успокоила:

— Да ты не бойся моего образования, я родом деревенская. Потому, может, и выдержала три года на этой ферме. Привычная, слава Богу. Ну, а ты?

И спросила, чуть помолчав:

— Ты же на сносях была.

И тогда Алёнушка всё ей выплакала, будто взорвалась. Всю свою жизнь, всю беду, ей выпавшую. И про лагерь, про мамёнку. Про Вилли, про поездку в санитарном поезде и семейство Штернов. И про Лизаньку.

Забились они в уголок теплушки под продолговатым окошком, в какое выглянула когда-то Алёна, чтобы увидеть деревья, заброшенные человеческими кишками, а потом через такие же окошки вглядывались в неё люди в полосатых робах: то глаз мелькал, напряжённый, тревожный, даже лица не видать, то просто рукав полосатой рубахи, на которой над сердцем — это-то она хорошо знала! — был нашит лагерный номер.

Полина Степановна, тётя Поля, как сразу же стала звать её Алёнушка, вздыхала, качала головой, не в силах ей поверить, и, наконец, проговорила:

— Ты же девочка ещё! Шестнадцать лет! И такое уже пережить!

И обнимала, гладила Алёнушку по голове. Про себя говорила, что ничегошеньки не знает: жив ли совхоз, живы ли отец и мать, двое деток... Её забрели на работы в Германию по наводке: кто-то сказал немцам, что она ветеринар. А такие там требовались. И за три года ни единой весточки из дома. Пробовала писать, но письмо вернулось с припиской по-немецки: “Адресат не найден”.

Алёнушкина исповедь в одном месте всё же крепко споткнулась. Когда она рассказывала про Вилли. Тётя Поля взялась руками за лоб и за виски, будто прикрыла, но не совсем, глаза двумя ладонями. А голову опустила.

Это было в том месте, когда Алёнушка сказала, что доверилась Вилли. Поверила в его слова о любви.

— Погоди, погоди, — попросила Полина Степановна, — я помолчу...

И сидела так молча, прикрывшись лопаткой из сложенных ладоней, довольно долго. Это было, когда Алёнушка всю свою историю рассказывала по второму уже разу, а ведь в таких случаях всё бывает подробнее, с разными уточнениями. Не сразу тётя Поля руки развела, вздохнула, помолчала, взяла Алёнушкину голову, к себе привлекла, поцеловала в лоб.

— Знаешь, Алёнушка, не знаю, как бы вела сама, случись такое со мной. Но мне кажется...

Она подняла лицо к окну под потолком, а когда снова на Алёнушку посмотрела, глаза её были полны слёз.

— Мне кажется... Прости только! Про немецкую любовь ещё долго не сможет слышать русский народ. А уж наш, белорусский...

Стучали под ними колёса, бегущие домой.

— Не знаю, сколько! Пятьдесят! Сто лет! Но не сможет! И — даже — если, — проговорила она, отставляя слова друг от друга, — кто-то — лично — ни в чём — не виноват! — сделала паузу и выдохнула. — Я в это не поверю!..

Две женщины лежали на верхних полатах, прибитых по всей длине вагона, возле узкого окна — вагон переоборудовали для перевозки людей, хотя предназначен он был для перевозки скота, — и головы их омывал ветер, который врвался в открытое окно под потолком. И там, за стеной, неслась и кружилась Земля.

Земля, земля! Пространство, дарованное людям!

И вот вопреки этим людям, этим ломавшим её, взрывающим, корёжившим её красоту, она, как израненная, но сильная женщина, приходила постепенно в себя, охорашивалась летней зеленью, лилиями, чудно расцветающими в черноглазых прудах, осокой, ярко окаймлявшей берега ручьёв и рек, кустарниками разных пород и достоинств.

Женщина-земля приходила в себя, и хотели или не хотели того пострадавшие в войну женщины-люди, но земля, уверенная в себе и неиссякае-

мой силе своей, и им ласково, но твёрдо повелевала следовать её мудрым установлениям: расцветать опять и опять, без конца, вопреки всему.

Ночью, будто избавившись от оков, Алёнушка заснула со странной свободой внутри себя, улыбалась чему-то во сне.

А ветер, врываясь в окно, трепал её волосы.

И волосы тёти Поли тоже трепал.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

1

Крыльцо родимого дома — фильтрационный лагерь на белорусской границе — разместили в бывшем военном городке, полуразбитом снарядами и бомбами, кое-как подчищенном и тоже, увы, походившем на лагерь: колючая проволока вокруг, охрана со всех сторон и множество помещений, где шёл опрос, проверяли документы и выдавали новые. Некоторых взрослых отсекали, уводили в сторону, потом, по мере накопления, грузили в вагоны, предназначенные для заключённых, — всё те же теплушки, только с зарешеченными окнами под потолком. Женщин старались пропустить в ускоренном режиме, а несовершеннолетнюю Алёнушку, глянув, видать, на её росточек, и вовсе провели без всяких очередей. Она получила справку, по которой могла рассчитывать получить паспорт — ведь раньше-то у неё паспорта не было, — множество всяких бумаг на питание и на проезд: Родина всё-таки если и не ждала эту девочку, то для узницы концлагеря дверь не закрывала.

Полина Степановна управилась с опросами вскоре после неё. Человек бывалый, она ещё в Дуйсбурге, оказывается, написала подробно про все свои злоключения, указав советские должности, обстоятельства, при которых была увезена в Германию, место, куда возвращается. Эту бумагу со справками от западных оккупационных властей и бумагой от Штернов сдала и быстро получила разрешение ехать домой.

Они сели теперь в обычный пассажирский поезд и двинулись на восток. Перед Минском опять Алёнушку ждала печаль, к которой, впрочем, она была приготовлена. На какой-то маленькой станции, едва эшелон сбавил ход, сошла тётя Поля. Ей, говорила она, было поближе отсюда до дому, и каким ожидал её этот дом, можно только предполагать. От станции остались три печные трубы, но на дорожке возле рельсов стояла всё же молодая, совсем почти девочка, дежурная с красной повязкой на рукаве и с жёлтым свёрнутым флажком. Поезд дёрнулся, и Полина Степановна махнула рукой, крикнув:

— Держись!

Дальше Алёнушка поехала одна, и на каждой пересадке предъявляла справку, показав её, наверное, раз сто всяким военным, милиционерам, гражданским мужчинам и женщинам со строгими, не улыбочивыми, бдительными лицами.

Родной край встретил тишь. Удивительной, странной, необъяснимой. Вроде бы, ну, вот, наконец-то кончилась эта проклятая война, никто никому не опасен, выходи, народ, дальше жить. Но народу не было видно. Долго Алёнушка сообразить не могла, что его просто нет — никого не осталось.

Армия в эти первые послевоенные недели стояла там, где застал её мир, массовая демобилизация ещё не начиналась, эвакуированные — кто вернулся, а кто и не спешил, зная, что дома-то ничего не осталось. Словом, от победы до полной житейской уверенности в ней оставался пусть маленький, но ещё не сделанный шаг, и Алёнушка попала своим возвращением в такую вот пустоту.

От города до райцентра она добралась случайным переменным транспортом, а вот уж от райцентра до сельца пришлось идти своим ходом. Эти девять или десять вёрст она одолевала скорым шагом, стараясь двигаться по-

быстрее, не останавливалась даже на минуту возле порушенных мёртвых ферм, возле печей, оставшихся от когда-то живых и тёплых человеческих гнёзд, возле тракторов и машин, навечно остановившихся — вдоль дороги или прямо в пустом, заросшем дурниной поле.

Несколько раз она кланялась людям, выходящим к воротам уцелевших домов, её окликали, увидев, что идёт девочка, звали зайти, предлагали выпить, а она кланялась, благодарила, объясняла, что торопится, и тогда её спрашивали, откуда она, но всякий раз качали головой, когда Алёна называла негромкое имя своей деревушки.

И вот она вступила в село, где училась. Подошла к родной школе. Крепко удивилась: двухэтажное, ещё до революции сложенное зданье было в целости, и даже замок висел на дверях не заржавленный, а вполне приличный. Она присела на лавочке, чтобы отдохнуть перед последней ходкой до родной деревушки, — ещё, как известно, её предстояло пройти три километра.

За школьным углом послышался шорох, — оказалось, тихие шаги. Алёнушка встала, и — о, Боже! — на неё смотрела Ольга Петровна! Учительница!

Алёнушка даже, кажется, взвизгнула от радости, кинулась ей навстречу, обняла, но обняв, почувствовала, что тело учительницы от неё отстраняется, откидывается назад.

Она и сама откинулась, разглядывая ту, о которой почти забыла во всех своих бедах, но это же Ольга Петровна преподавала ей тот самый первый немислимый урок... Повешенные Софья и Сара — как давно это было! Их полагалось обмыть после смерти, и Ольга Петровна, часто поругивавшая приезжих, не любимых ею учительниц, с молчаливой решимостью исполнила эту последнюю обязанность. Алёнушка же была совсем сопливочкой — упала в обморок, а теперь...

Лицо Ольги Петровны почти не изменилось. Ну, да, пролегли глубокие морщины от носа ко рту, да и шея расписана ими, как шрамами. Но она всё та же, и, главное, она здесь, где видела её Алёнушка в последний раз.

И Алёна ей улыбалась, как улыбалась Полине Сергеевне, горько и радостно, сблизившись с ней, как бросилась бы к Клаве, повстречай её сейчас чудесным образом. Но она ведь осталась совсем одна и шла сейчас домой, к дорогому месту своему, и всё, что здесь, было для неё спасением, а тут ещё старая учительница!

Но Ольга Петровна отодвигалась и отодвигалась от своей бывшей ученицы, и всякие следы радости стирались с её лица.

Наконец, она глухо, с укоризной, проговорила:

— Эх, Никитина!

И отвела глаза. Снова обрушился на Алёну тот снеговал. Когда почти теряешь сознание. Когда жизнь исчезает прежде, чем ты это понимаешь. Когда холод врывается за воротник, и крикнуть невозможно — забывает снег.

Она простонала в ответ:

— Что?

— Да то! — прошелестела старуха.

Учительница словно растворилась, отступила куда-то за ограду, пропала в густых зарослях репейника.

Алёнушка, будто тяжело раненная, медленно побрела от школы в сторону своей деревушки. Дорога оказалась заросшей. Похоже, давным-давно здесь никто не проезжал. И она не упала, а легла на непроезжую дорогу, ведущую домой.

Напрасно щекотала её брови ромашка, зря мокрица подкладывалась под неё, чтобы мягче лежалось на земле, и иван-чай попусту покачивал головой: мол, здравствуй, девочка, ты ведь дома! Ничто не трогало Алёнушку. Она лежала в буйных травах своей родины, ею не только отвергнутая, не прощённая, за что — неизвестно, но даже приговорённая. За то, что спаслась, что выжила и вернулась. Оказывается, всё это не радость, не благодать, а вина неисправимая.

А молва сама по свету бродит.

И всё-таки судьба сжалилась над ней.

Когда она, пошатываясь и плохо разбирая дорогу, дошла до своей деревушки, выступила из леска, откуда видна была их улица, — словно споткнулась, поражённая.

Вся деревушка её стояла на своём месте. И лишь приблизившись, вступив на единственную улицу, Алёнушка увидела заколоченные окна, покряхившиеся стены.

Только Клавина изба была живой, и из неё выскочили два белобрысых подростка — мальчик да девочка, Клавины дети. Из ограды, скрипнув дверью, следом явилась вроде никак и не переменившаяся Клавина мать. Где-то на задах мыкнула корова. А старуха спросила с надеждой:

— Де Клава?

Не было, значит, Клавы. Не знала Алёна, где Клава, спасая её, если знать хотите, благословившая на спасение. Опустив голову, она развела руками. И бабка понурилась, словно ответ-то заранее знала, да всё же спросила...

Будто по ухабам, кинула её жизнь в низину, и охнуть Алёна не успела, как выметнула на гребень: радуйся. Перед ней был её дом родительский, — чудо чудесное! — цел и невредим. Только дверь в ограду приткнута не палочкой, а батоном.

— Это я запер, — сказал за спиной басовитый голос Клавиного сынка Сёмки, а Маня, дочка её, заспорила:

— Вместе мы!

Алёнушка отодвинула палку, вступила в сени, распахнула дверь в избу. Боже! Ничего здесь не переменялось! И всё стояло в том порядке, в который привели это маменькины руки. Алёнушка подошла к шкафчику с посудой и, будто загипнотизированная, медленно взяла в руки фотографию чужих людей, сделанную неведомо где, на которой можно было узнать только Софью да Сару. В какой жизни знала этих учительниц Алёна? Где осталась та жизнь? И какое значение теперь имеет всё, что было с ними?

Да и с ней тоже?..

Недели три, а то и четыре она жила полусном, полуявью, и всё в ней смешалось. Она могла полдня просидеть на пенёчке возле папенькиной могилки, как зелёным покрывалом затянутой нежным влажным мхом. Сидела, покачивалась, шевелила губами, шептала ему про неведомое поле в далёкой дали и про маменьку, там оставшуюся.

Шептала она папеньке и про свою беду, про девочку свою Лизаньку, тёплый клубочек плоти, от которого её отняли силком, и уж никогда, никогда больше не то что не увидит она свою доченьку, но даже и не услышит о ней, как, выросши, не узнает и Лизанька о своей настоящей матери. А Вилли...

Чем больше событий выпадало в предшествовавшей жизни, чем плотнее, спрессованнее двигалась та жизнь и чем меньше времени оставалось у неё тогда на размышления, тем, как оказалось, ей было легче жить. Но вот всё остановилось.

С ней произошло то, о чём она и мечтать не могла, — она вернулась домой, и время встало. Всё, с ней происшедшее и основательно сжатое раньше, стало разворачиваться, расти в объёме. Точно забытый, высохший, утративший былую плоть, завалившийся старый сухарь попал на блюде с тёплым чаем и, впитав влагу, размягчился, распух, увеличиваясь в размерах, стал вновь съедобным, вернул себе облик куска хлеба, которым он прежде был.

Она думала про Вилли, который увидел её, прибрал, поначалу против её воли, и не выкинул, не предал, а сделал своей женой по всем жёстким правилам тогдашнего и тамошнего их существования. Про Вилли, в предчувствии великого конца продлившего свою собственную жизнь и пробудившего в ней что-то, похожее на любовь... Но странное дело, именно Вилли, спас-

ший её и перевернувший всю её жизнь, поспешнее всего исчезал из сознания и из памяти её. Будто убегал куда-то, истаивал, — ведь даже и фотографии его не было у Алёнушки.

Она чувствовала, что всё-таки что-то неладное творилось с её сознанием. Вилли убегал, уходил, таял в памяти, а её вина за спасение таким, не ею придуманным способом становилась всё отчётливей. Да, выговорилась она Полине Степановне, чужой, в общем-то, женщине, и та, поверив во все грехи Алёнины, не признала их грехами-то. Потому что сама исстрадалась. А вот Ольга Петровна ей их предъявила, хотя неведомо, как она хоть что-то могла знать, — ведь никто, ни единая душа в мире, кроме той медсестры, не знала истории, случившейся с Алёной. Впрочем — откуда, как? — всё это не трогало Алёну.

В лесочке, возле папенькиной могилки, в доме родительском своём, разговаривая с Маней и Сёмкой или с бабушкой их, Клавиной мамой Евдокией Мироновной, да и во сне даже, в ней, не прерываясь ни на миг, снова и снова раскручивался клубок её собственной жизни. И грядущего оставалось всё меньше. Она похудела, выглядела старше своих лет.

Грызла её изнутри, точила, будто короед дерево, непрестанная, неотвязная, не прощаемая её виновность.

Неизвестно, за что, и неизвестно, перед кем.

4

Ясное дело, в первый же день, как вернулась, пришла она к Евдокии Мироновне, Клавиной маме. Долго, во всех подробностях, какие помнила, рассказывала ей с внучатами про Клавушку. Какой она была работающей на первых работах, когда копали эскарпы, как собирала золу из костров, чтобы одежду стирать, как была бригадиром, заботилась о женщинах и вступала в пререкания с полицией. И что потом было, в концлагере, как ходили они отрядами на работу с кайлами и лопатами, и как всё с ней же, с Клавушкой, перенесла она тело маменьки с дороги на обочину, и как Клава потом велела Алёнушке спастись, ни на что не обращая внимания. Так они расстались, с благословения Клавы, на веки вечные.

Клавина мама, совсем глубокая старуха, странное дело, вздохнула облегчённо, перекрестилась. Ни единого вопроса не задала. Как и детки Клавины. Выслушали Алёнушку молча, будто кто им прочитал письмо без обратного адреса.

А осенью Алёнушке в тот год исполнилось семнадцать лет. Надо было жить дальше. Победовав в родительском доме год-другой, она постепенно обзавелась живностью и жила огородом. В сельце появляться не любила, хотя вынужденно выбиралась за солью, сахаром да мукой. Даже хлеб пекла сама в старой и верной родительской русской печи.

Однажды за ней явились на грузовушке. Шофёр, молодой паренёк, передал просьбу Ольги Петровны сразу же приехать поговорить — на два слова. Пояснил — учительница умирает. Алёна поехала. Ольга Петровна, лежавшая на узенькой, вдовей какой-то железной койке, обессиленная, обескровленная, успела произнести шёпотом:

— Прости меня!

И ещё попросила:

— Обмой меня.

Умерла она почти сразу, точно ждала Алёнушку, и оказалось, что учительница совершенно одинока. Яму выкопал, чертыхаясь, какой-то деревенский пьянчужка за скромный гонорар в одну бутылку, припасённый на этот случай усопшей, а Алёнушка, как сумела, обмыла покойницу в её же кровати, не испытывая ни страха, ни отвращения. Сердце её ни разу не стукнуло как-нибудь по-особенному, и она подумала о себе, что вот, совсем стала не похожа на себя прежнюю.

Потом умерла Евдокия Мироновна, и её обмыла Алёнушка. Похоронили её в селе, неподалёку от учительницы Ольги Петровны и уж совсем далеко от Софы и Сары.

Много, ох, много народу перемерло за войну, и могилки двух забытых учительниц сравнялись, поросли травой, в которой, к своему удивлению, Алёна рассмотрела ярко-красные ягоды лесной земляники, которые будто звали, даже, требовали сорвать их и порадоваться их сладости. Но Алёна знала — с могил ягод не срывают, какими бы они ни были прекрасными. И не едят.

Сёму и Машу отправили в интернат, они исчезли в водовороте послевоенной жизни, и Алёнушка осталась совсем одна в своей пустой деревушке.

5

И всё же однажды случилось в её жизни нечто невероятное. К ней приехала тётя Поля, Полина Степановна! Да не одна. Были с ней Степан, сын её собственный, оставшийся живым, дочь Зиночка, тоже в полном здравии, и ещё один человек, по имени Сергей.

Этот взрослый, сединами охваченный мужчина, объяснила тётя Поля Алёнушке, с лихвой бед отведал: воевал, попал в плен, сбежал каким-то манером к своим, но был осуждён, попал в штрафбат, где проявил храбрость, получил даже орден, но теперь, после войны, мыкается, и всё потому, что дом его родителей, — а он в том же селе был, где живёт Полина Степановна, — сгорел. Сергей бы, может, и готов новый отстроить, но не с кем — никак не найдёт свою голубку.

В конце концов, Полина Степановна призналась Алёнушке в лесочке у папенькиной могилки, к которой они пришли вдвоём, что и всю эту экспедицию-то она затеяла к тому, чтобы Алёнушка и Сергей познакомились, сошлись, раны свои военные залечили, да и стали бы жить далее, как полагаются всем нестарым ещё людям.

Алёнушка смотрела на неё не мигая. Довольно холодно, неприветливо смотрела. Спросила, отворачивая взгляд:

— А как же Лизанька?

— Ну, вот! — огорчилась тетя Поля. — Ей про Фому, а она про Ерёму! Ты ведь речку повернуть не можешь против течения! Нет! Даже самый малый ручёёк! Так и жизнь, Алёнушка! Что было, то прошло, и прошедшее не воротись.

Помолчав, почти крикнула:

— Да и не надо! Ни тебе, ни мне нашего прошлого! Давай оставленное нам доживём! Как Бог подаст!

Алёна только спросила:

— Так это Он мне подаёт? Сейчас-то? Или ты, тётя Поля?

— Он! Моим желаньем тебя спасти!

Обратно к дому шли, обнявшись, и тётя Поля, Полина Степановна, дипломированный ветеринар, купала Алёнушку в словах утешительных, мирных, обнадеживающих. И всё пошло-поехало как будто потихонечку-помаленечку. Вечером накрыли они с тётей Полей стол в Алёнушкином доме — гости-то расположиться тут не пожелали, попросили согласия остановиться в опустевшем доме, где Клавушка жила со своими детками да мамой Евдокией Мироновной, — теперь уж Алёнушка притворила крепкой дубинкой дверь соседского подворья, скотинку оставшуюся к себе пристроив.

Оказалось, Сергей-то ещё и гармонист. Вечером, когда отужинали, и тётя Поля увела выросших детей своих на ночлег, а Сергей негромко, но ладно, душевно даже поиграв, завёл с Алёной разговор по существу.

— Меня, — сказал, — Полина Степановна долго склоняла поехать к вам, познакомиться, да и посвататься, что уж таить! Но я всё упирался. Не верил в её слова. А теперь увидал вас, и в душе её благодарю.

— Не торопитесь, — тихо ответила Алёнушка.

— Да мы же серьёзные люди, — ответил Сергей, взрослый, намного старше Алёны, мужчина. Побитый сединами, тоже своё испивший, не пристроенный, горький, видать, человек. Горький, а всё же наивный.

— Алёнушка, — гнул он своё, — нет у нас на ухажерство времени. Сваताюсь к вам. Выходи, — перешёл на ты, — за меня.

— Погоди, погоди, — сказала ему Алёна.

— Чего годить-то! — засмеялся он. — Все свои годы уж перегадил!

— Ну, а что ты скажешь, милый человек, — как можно ласковее проговорила Алёнушка, — если я сообщу тебе, что была женой немецкого солдата? Что с немцем жила?

Сергей всё это время тихо, чтоб разговору не менять, наигрывал на своей поношенной, выдавшей виды, гармошечке. И тут, при словах этих Алёниных, гармошечка вдруг застонала одной нотой, как будто заплакала, закулила, да и оборвалась.

Сергей сидел, голову опустив, и, не поднимая глаз, сказал растерянно:

— Полина говорила, что вы в концлагере были... В Германию вас угнали...

Потом всё-таки хватило сил у него глаза в глаза Алёне поглядеть. Сказать:

— Прости!

6

Если не поленитесь, то считайте...

В год, когда кончилась война, осенью, Алёнушке исполнилось семнадцать лет, а умерла она шестидесятилетней. Учиться дальше она не стала — десятилетка находилась далеко от дома, в райцентре, добираться туда было невозможно, переехать, чтобы снимать угол, — дорого, да ведь она и не работала — жила собственным хозяйством. Ей удалось получить паспорт — на основании справки о плене, да и то — столько она объяснений дала в разных кабинетах этого самого проклятого райцентра, что почти всякий раз домой бегом бежала, не дождавшись порой попутной машины.

Объяснять всё, что и как случилось с ней в войну, она не могла, а ещё больше — не хотела. Так её и оставили в покое: партизанка, одинокая, занимается подсобным хозяйством, тем и живёт. Позже дали грошовую пенсию.

Немногие забредавшие в деревушку люди, — всё больше жители ближнего и тоже умиравшего сельца, — удивлялись опрятному виду стареющей женщины, её приветливости ко всем без разбору и ещё тому, что она вставляла в свою речь немецкие словечки: “данкешён” — спасибо, “их либе” — я люблю или ещё что-нибудь такое. Пустили слух, что это она в плену умом повредилась, — ну, можно ли улыбаться-то всякому встречному-поперечному, водички предлагать, а то и молочка.

Эх, люди! Да это же просто знак того, что светлые деревенские правила забываются, раньше-то такое внимание обычаем было: увидишь незнакомого — поклонись, первым поздоровайся, если ты мужик — картузними, если баба — предложи водички: попить не желаете ли с дорожки-то, чем вам помочь, что указать?

Алёнушка выросла, а потом и старела с улыбкой, как маменька учила. Да только никак не выходила из неё беда её, и всё, что было с ней сейчас, никак не могло заштриховать происшедшее. Жизнь со всеми её прегрешениями, бедами, тоской, но ведь и с радостями же, с солнцем, с лесом, с небом над головой, выходило, не очень-то и требовалась Алёнушке, потерявшей к ней интерес и всякий вкус.

Но однажды она всё-таки совершила подвиг — поехала к тётке Поле. Дети её выросли, и состарилась она, единственная свидетельница Алёнушкиных испытаний. Обнялись они с ней так, будто сцепились, — дети даже испугались этих объятий! — и долго, долго безнадежно плакали.

Сергей, конечно, женился, куда-то уехал, и с тёткой Полей после той поездки ни о чём не говорил, да ведь и не узнать об этом ездила Алёнушка — всё она знала из Полиных писем.

Просто чтобы повидаться с Полиной Степановной.

Скоро та умерла.

А Алёнушка всё жила и жила, не показываясь врачам, не имея дел с властью, — только на выборы ходила — да почти и не разговаривая с людьми.

Они, эти люди, совсем редко заглядывали в деревушку. Пройдут зимой лыжники по деревне, один махнёт варежкой — и всё.

А от деревушки почти ничего не осталось. Деревянная изба, как известно, требует живой души внутри-то себя. Чтобы кто-то ходил по половицам, гвозди, если надо, прибывал, пол подметал, ну и, ясное дело, дышал тут, топил печь, разговоры свои разговаривал. Покидает избу человек, забывает крест-накрест окна досками, запирает дверь, и — всё, считай, простился с родной душой. В одиночестве изба, как и старая женщина, тоскует, а потеряв надежду — и умирает. Брёвна превращаются в труху, крыша покрывается зелёным мхом, ступеньки на крыльце гнивают и обваливаются. И в один печальный час крыша рушится — когда и с грохотом, как последний вскрик, обращение к покинувшим её, а чаще всего — со слабым шуршанием сваливается обочь, и недолго уже ждать, когда и стены через осень-другую поведёт в одну слабую и неверную сторону и, будто убитый конь, на котором бы ещё скакать и скакать, падает набок дом.

Дом, вскормивший многих людей, уже ушедших за пределы жизни или забывших родительскую и вечно верную крышу милого дома, родину свою, половицы, по которым свои первые шаги пробовали...

И вот деревушка вся развалилась. Встала на колени, поросла осокой, мхом и другими растениями, вполне красивыми, чтобы красой своей, видать, прикрыть человеческое беспомыслие и хоть эдак человека извинить. Но человек — существо неизвиняемое...

Остался во всей деревушке лишь домик Алёнушки. Печка у неё топилась, дорожки зимой всегда вокруг избы были прочищены, дрова наколоты, впрочем, в последние-то годы это были распиленные, высохшие, почерневшие остатки соседних, покинутых всеми срубов.

Лишь редко-редко добиралась до неё девочка Лиза, местная почтальонша. Мать этой девочки рано перенесла инсульт, отец семью бросил, и девушке, всякий раз почему-то вызывавшей в Алёне Сергеевне мысль о её собственной дочери, приходилось работать почтальоном. А в деревню за три версты, где живёт всего одна старуха, никто больше ходить не желал. Вот она и бегала.

Постаревшая Алёнушка принимала её, как родную, долгожданную гостью, и Лиза поначалу считала это старинным русским гостеприимством. Но хозяйка со временем, с годами даже, стала спрашивать странные вещи.

Например, как ей удалось убежать от деда и бабки Штерн? Жива ли какая-то Элла? И что там с Готфридом?

Почтальонша не сразу смекнула, что Алёна Сергеевна, которой и доставлялась-то одна лишь бессловесная пенсия, — ни единого письмеца! — путает времена своей жизни, хотя радиоприёмник на батарейках у неё звучал непрерывно, и батарейки эти приносила сюда Лиза, покупая их в сельпо.

Девочка ей мягко напоминала, что дома её ждёт беспомощная мать, и надо ещё приготовить еду, после чего лицо Алёны Сергеевны разглаживалось, наверно, она возвращалась в настоящее время, кивала головой и всегда смотрела на шкафчик, в котором, Лиза знала, стояла две фотографии молодых женщин, которые учили эту старушку в допотопные времена, да красивый альбомчик с единственным стихотворением, написанным на немецком языке.

Лиза потом не раз говорила, что больше всего Алёна Сергеевна хотела бы увидеть свою дочь, тоже Лизу, Лизаньку, как она говорила, и верила, что Лизанька, конечно же, стала настоящей принцессой, не зря у её предков была аристократическая приставка “фон”.

После нескольких таких разговоров, когда почтальонша Лиза принесла очередную пенсию и выпила чаю, какого-то совершенно невероятного по вкусу лесного чая, настоящего на одних только травах, и сняла косынку, ра-

зомлев, старушка, вежливо спросив, не найдется ли у неё времени выслушать её рассказ, и поведала ей всю свою историю.

Когда она закончила, Лиза сидела, сжавшись в комочек, — она была со-страдательной девочкой, которой и самой досталась непростая жизнь. Но жизнь без войны, без концлагерей и без страха смерти...

— Как же вы выжили? — спросила она.

— Да я б и остатки жизни отдала, — ответила старушка, — только чтоб свою кровиночку увидеть, Лизаньку. Хоть краешком глаза!

Почтальонша запомнила из того рассказа чужие наименования и имена — какого-то Дуйсбурга, Пелагеи Матвеевны, Сергея Кузьмича и соседки Клавы. Ну, и, конечно, имя своей неведомой тётки.

Потом у Лизы умерла мать, после сороковин она взяла отпуск без содержания и надолго уехала к родственникам, а вернулась уже зимой. Никто, как выяснилось, за всё это время пенсию Никитиной не носил, и когда почтальонша пришла в покинутую деревню, — а было это, напомним, зимой, — дверь в остуженную избу была слегка приоткрыта. А в светёлке лежала холодная и, судя по всему, недавно умершая Алёнушка, сама себя приготовившая к смерти.

Она лежала посреди кровати в чёрном платье, и в скрещенных руках зажата была маленькая картонная иконка Богородицы, именуемая “Утоли моя печали...”

Время в России стояло ещё неверующее, атеистическое, да Алёна Сергеевна и не сказала Лизе ничего о своих предсмертных желаниях. Так что её и отпевать не стали: власть к таким делам тогда была непричастна, даже напротив — строга, церковь была только в райцентре. Но вот — странное дело! — похоронить Алёнушку позволили не на сельском кладбище, а рядом с батюшкой, в лесу.

Снова шёл снег, послали было с гробом грузовик, но он застрял в снегу и скоро вернулся. Тогда Лиза отыскивала троих пожилых односельчан. Они ещё помнили красавицу Алёнушку. Правда, помнили приблизительно, примерно, по рассказам старшей родни. И всё за ту же вечную, неизменную, всё оплачивающую русскую валюту — за бутылку на душу — они привезли на санках из села в деревушку гроб, потом отправились в лес и исполнили самое последнее в жизни каждого дело: зарыли Алёнушку в землю по соседству с ещё одной, аккуратно прибранной, хотя и старой, видать, могилкой.

Денег, которые лежали приготовленными на столике в конверте — и об этом усопшая позаботилась! — рассчитаться вполне хватило.

8

Прошли многие и разные годы...

Ярко-зелёный, акварельный мох, ещё с довоенных пор украшавший лес возле папенькиной могилки, — а теперь и могилки Алёнушки, — постепенно выполз из этого леса, затянул остатки всех деревенских строений и всякие следы человеческие собой стёр.

Будто незримый художник заштриховал нарядным цветом прошедшее время.

Вот только горе человеческое затушевывать нельзя...

9

Или можно? И скорби людей из прошлого исчезнут навсегда вместе с ними?

На что же тогда надеяться нам, живущим?